

НИКОЛАЙ СУХАНОВ

ЗАПИСКИ О
РЕВОЛЮЦИИ

Николай Суханов
Записки о революции

«Public Domain»

1921

Суханов Н. Н.

Записки о революции / Н. Н. Суханов — «Public Domain», 1921

Несмотря на субъективность, обусловленную политическими взглядами автора, стоявшего на меньшевистских позициях, «Записки о революции» Н.Н.Суханова давно признаны ценным источником по истории революционного движения в Петрограде в 1917 году. Мемуары помимо описания масштабных событий содержат малоизвестные факты о закулисных сторонах деятельности мелкобуржуазных партий, остроумные характеристики политических деятелей, любопытные наблюдения о быте, нравах психологии людей того времени. Издание рассчитано на всех, кто интересуется историей России.

© Суханов Н. Н., 1921

© Public Domain, 1921

Содержание

От издательства	5
От автора	6
Книга первая	9
Пролог	9
Последняя ставка	18
Революции день первый	35
Революции день второй	66
День третий	89
Конец ознакомительного фрагмента.	114

Н. Н. Суханов

Записки о революции

От издательства

Хотя путь русской революции еще не завершен, но уже настало время положить начало великому труду собирания материалов для будущей истории великого переворота. Мы, современники событий грандиозных, обязаны немедля создать, собрать и сохранить документы, рисующие ход исторического движения, работу личностей, и приготовить все материалы для здания, которое возведет будущий историк. Среди этих материалов одно из первых по важности мест должны занять записки, дневники, воспоминания тех людей, которые творили эти события, или тех, которые наблюдали их. Записки видных участников событий будут ценны для построения политической истории переворота, записки честных свидетелей, вдумчиво наблюдавших ход революции, будут незаменимым подспорьем в работах по истории бытовой. Но особенно важна историческая ценность современных записей в том отношении, что они являются единственным источником выяснения жизнеощущения и быта революционной эпохи. Желая посильно содействовать труду собирания материалов, мы ставим задачей в нашей серии собрать именно эти современные дневники, записки, мемуары деятелей и современников революции. Преследуя исторические задачи прежде всего, мы намерены дать в нашей серии место авторам различных политических взглядов – от крайних левых до правых включительно. Только такое полное сочетание материалов даст возможность охватить все жизненное богатство великого исторического переворота.

З. И. Гржебина

От автора

Неправильно, несправедливо, нельзя принимать эти «Записки» за *историю*, хотя бы за самый беглый и неприязнительный исторический очерк русской революции. Это – *личные воспоминания*, не больше.

Я пишу только то, что помню, только так, как помню. Эти записки – плод не размышления и еще меньше *изучения*: они плод *памяти*.

Я не считал себя *обязанным* изучать, исследовать то, что необходимо для истории революции, но происходило у меня за спиной, проходило не у меня на глазах, не через мои руки. А читатели, я считаю, *не в праве* требовать от этих «Записок» большего, чем могут дать вообще личные ремарки, случайные заметки, писанные между делом, – когда волею «коммунистических» властей я стал на время безработным, устраненный от литературной работы закрытием «Новой жизни» и от политической – изгнанием из центрального советского учреждения (ЦИК), где я работал с первого момента революции.

Эта книга – первая серии, которой не видно конца, – написана в период июля – ноября 1918 года. Следующую я едва начал и, бог весть, закончу ли когда-нибудь мою повесть о незабвенных днях, о грандиозных делах эпохи, величайшей в истории человечества, – о делах и днях, свидетелем которых меня поставила счастливая судьба. Ибо разве, в самом деле, не счастье – иметь возможность писать о мировых событиях, о сказочных народных подвигах в книге личных воспоминаний!..

Отказываясь от исторического изучения, я, можно сказать, из принципа отвергал пользование всякими материалами, кроме случайных и неполных комплектов одной-двух газет, призванных лишь будить мне память и избавлять изложение от хронологической путаницы.

Но и то – для этой цели газеты послужат мне главным образом в *следующих* выпусках. В этой же книжке газеты почти ни в чем не помогли мне. Дни переворота, первые шаги революции, период «становления» нового порядка запечатлелись навсегда в моей голове так, что никакие газеты и «источники» не могли бы тут прибавить ни йоты. Они могли бы осветить те стороны дела, те явления, те события, которые были вне поля моего зрения. Но, во-первых, именно в этот период, не выходя из Таврического дворца, не покидая недр революции, я могу сказать, что мое поле зрения на нее было огромно, а то, что было вне его, было менее интересно и менее важно. Во-вторых, повторяю, что было вне поля моего зрения, я не *обязан* описывать. А читатель *не в праве* от меня этого требовать.

Все это значит, что моя книга переполнена всякого рода «субъективизмом». Да, и я не только не избегаю, не ограничиваю его, но совершенно не считаю это *недостатком* исполнения моей работы. Правда, меня самого при писании и чтении нижеследующих страниц брало сомнение и недовольство по поводу их «субъективного» духа и вида: кому, в конце концов, какое дело до моей личности, до того, чем я когда занимался, над чем когда размышлял, как рассуждал, где «проживал»! Но эти сомнения пришлось игнорировать: я пишу и предлагаю *личные* «Записки». Это недостаток не исполнения, а *типа работы*. Кому неинтересно, пусть не идет дальше этих строк...

Недостатки исполнения – *другие*, вполне очевидные, совершенно бесспорные, очень большие и крайне досадные. Статистик и публицист, чернорабочий литератор, я не умел *нарисовать картину: красок нет*.

Нет красок, достойных чудесной эпопеи, которую взрослым и детям будут рассказывать во веки веков, которой будут вдохновляться художники будущих поколений... Досадно, но неизбежно. С этим я ничего не мог бы поделать, если бы даже писал не урывками, не впопыхах, если бы даже я имел возможность не набрасывать на бумагу случайную вереницу мыслей и воспоминаний, а *работать* над изложением, отделять, усовершенствовать беспорядочные

наброски. Но я не имел этой возможности. И я отлично сознавал безнадежность своих мечтаний и не лелеял утопических планов – дать «изобразительный *рассказ*».

Это, однако, ни в малейшей степени не ослабило моего намерения дать мой собственный *рассказ вообще*, написать и опубликовать при первой возможности мои мемуары. Это сделать я считал и считаю себя обязанным.

Ибо я видел, я помню многое и многое, что было недоступно, что остается неизвестным современникам. И кто поручится, что это не *останется* неизвестным и истории? А тем более, кто поручится, что другие участники и свидетели правильно осветят дело и лишнее свидетельство не будет ценным для историков?..

Во всяком случае, я убежден, что эти «Записки» дадут для них полезные крупинки. Этого достаточно, чтобы пуститься в дальнейшее плавание, предприняв многотомную работу с риском никогда не пристать к желанному берегу.

Конечно, заканчивая «Записки» о каком-либо периоде или эпизоде революции, я уже не надеюсь когда-либо вернуться к нему. Это мое *последнее слово* о нем. Я *сейчас* рассказываю о нем все, что знаю, говорю все, что имею сказать о событиях, о людях, об их свойствах, об их делах...

И мне не раз говорили: не рано ли, удобно ли, уместно ли это? Что за мемуары в разгаре событий – об их участниках, о современниках, о собственных соратниках, о политических друзьях и врагах, с которыми еще придется в различных комбинациях идти плечо к плечу или скрестить шпаги на тернистом и долгом пути мировой социалистической революции! Что за мемуары среди огня и пороха, в пылу неоконченной борьбы, когда вместо бесстрастия летописца каждая страница кричит о пристрастии апологета или обвинителя!.. Да и вообще, можно ли о живых людях и их делах говорить все, что знаешь, что помнишь, что думаешь?

По-моему, *можно*, а в «последнем слове» – *обязательно*. Современному Пимену не дожидаться, пока минувшее, полное событий, станет «безмолвным и спокойным». А пыль веков, к счастью, не обязательный удел сказаний в эпоху ротационных машин. Какой же смысл в отсрочке?.. Субъективизм и пристрастие? Но почему же не предоставить роль беспристрастных судей будущим поколениям историков? Разве не имеет законных *raisons d'être*¹ слово подсудимого?..

Может быть, я представлю «дела и дни» в ложном свете, искажу действительность, перепутаю перспективы? Ну что ж! Меня поправят очевидцы: уже для одного этого я должен поспешить со своей версией...

Может быть, я ложно обвиню, оклевету действующих лиц? Ну что ж! Кто хочет, сможет защищаться, опровергать, заклеить меня; уже для одного этого я должен предпочесть говорить про живых, а не «на мертвого». Передо мной все преимущества человека, не связанного необходимостью говорить *aut bene, aut nihil*.² И я буду говорить решительно все, что помню, что думаю, что имею сказать.

Не имея границ в *содержании*, я еще менее связан *формой* «Записок». Пусть это не история, и не публицистика, и не беллетристика; пусть это и то, и другое, и третье, в беспорядочной чередке, в случайных и уродливых пропорциях. Пусть! Поставив в заголовке «Записки», я ровно ничего не обещал и пишу, не стесняясь никаким стилем, нарушая все принципы архитектуры, не руководствуясь никакими правилами, рамками, формами литературного произведения...

Итак, вот первое сказание.

Москва, 2 января 1919 года.

¹ право на существование (франц.)

² все или ничего (лат.)

С тех пор прошло больше двух с половиной лет. Я написал еще пять книг о революции – все так же наскоро и впопыхах. Но все сказанное выше остается в силе. И я почти ничего не имею прибавить к предыдущим строкам.

Эти шесть книг уже можно рассматривать как некое цельное сочинение, охватывающее вполне определенную и законченную эпоху не только русской революции, но и государства российского. С момента падения старого строя я довел теперь изложение до диктатуры Российской Коммунистической партии... Это не значит, что здесь я собираюсь поставить точку. Я намерен продолжать. Но если бы это намерение и не осуществилось, написанные шесть книг нельзя считать отрывком, не имеющим права на самостоятельное существование.

Шесть книг – это гораздо больше, чем я ожидал и желал. Я хорошо понимаю: это слишком много, слишком трудно и не нужно для читателя. Однако я не воздержался и сказал все, что имел. Я исходил из того несомненного факта, *что разные* читатели будут искать разного в моих «Записках». Пусть каждому из них в отдельности будет интересна одна десятая часть; всем, взятым вместе, может пригодиться все сочинение.

В каждой книге указаны даты ее писания. Пусть читатель имеет в виду этот немаловажный критерий для оценки моих суждений.

Еще надо иметь в виду: я употребляю повсюду *старый календарный стиль* — так, как совершались события и как я помню их.

30 августа 1921 года.

Книга первая

Мартовский переворот

23 февраля – 2 марта 1917 года

Пролог

21-24 февраля 1917 года

Pro domo mea.³ – Начало революции. – Петербургская общественность в феврале 1917-го. – Развитие движения и бессилие власти. – Проблема «высокой политики». – Какова должна быть первая революционная власть. – Конфликт Циммервальда с реальной политикой. – В поисках информации и ориентировки. – Лозунги уличного движения. – Необходимый компромисс. – Лозунги интеллигенции и политика буржуазии. – Первый общедемократический центр революции.

Я был выслан из Петербурга еще 10 мая 1914 года. Тогда я состоял редактором межпартийного, но левого «Современника», взявшего во время войны интернационалистский курс, к большому неудовольствию его петербургских сотрудников-«оборонцев», но к меньшему удовольствию сотрудников-эмигрантов, сплотившихся в огромном большинстве своем вокруг знамени Циммервальда. Будучи выслан, я все же большую часть времени до самой революции жил в столице нелегально – то по чужому паспорту, то бегая по ночевкам, то шмыгая тенью мимо швейцара и дворника, – в качестве частого посетителя собственной квартиры, где жила моя семья.

С ноября 1916 года я был членом редакции и ближайшим фактическим работником «Летописи», держа весь журнал Максима Горького под дамокловым мечом полицейского разгрома. Но этого мало: мое нелегальное положение не препятствовало мне работать в качестве экономиста, под своим именем, в одном казенном учреждении, в министерстве земледелия, – в одной из организаций по орошению Туркестана.

В таком официальном положении, чине и звании меня застала революция 1917 года.

Был вторник 21 февраля. Я сидел в своем кабинете в своем «туркестанском» управлении. За стеной две барышни-машинистки разговаривали о продовольственных осложнениях, о скандалах в хвостах у лавок, о волнении среди женщин, о попытке разгромить какой-то склад. – Знаете, – заявила вдруг одна из барышень, – по-моему, это начало революции!..

Эти барышни ничего не понимали в революциях. И я ни на грош не верил им. Но в те времена, чем дальше, тем больше, сидя над своими «оросителями» и «водосборами», над своими статьями и брошюрами, над «летописными» рукописями и корректурами, я мечтал и раздумывал о неизбежной революции, мчавшейся к нам на всех парах...

В этот период агонии царизма внимание российской, по крайней мере петербургской, общественности и столичных политических групп вращалось больше всего вокруг Государственной думы, созванной 14 февраля. Некоторыми – более правыми из левых (социалистических) элементов – к этому дню приурочивалось уличное выступление рабочих под лозунгами

³ О себе (лат.)

«Хлеба!» и «Долой самодержавие!». Более левые элементы, и я в том числе, высказывались на различных партийных собраниях *против* того, чтобы связывать рабочее движение с Государственной думой, ибо буржуазно-думские круги дали достаточно доказательств, что они не только не могут быть вместе с пролетариатом хотя бы перед лицом Распутина, но как огня боятся даже и попытки *использовать* силы пролетариата в борьбе за «конституционный строй» и за «войну до полной победы».

Боязнь эта была вполне основательна. Поощрить и вызвать духа, конечно, было можно, но заставить его служить себе – никогда. И думский «Прогрессивный блок», воплощавший в себе позицию всей нашей цензовой буржуазии, считал за благо лишь заострять оружие против пролетарского движения – даже в момент величайшего и позорнейшего оплевания Распутиным России, ее национального достоинства, всей русской общественности и «конституционно-патриотического движения» цензовиков.

Милюков, поводырь всего «Прогрессивного блока», незадолго перед тем заявил, что он готов отказаться даже от своей «полной победы», даже от Дарданелл, даже от службы доблестным союзникам, если это все достижимо лишь ценой революции. А теперь, по поводу слухов о предстоящем рабочем выступлении, тот же Милюков опубликовал свое памятное обращение к рабочим, где всякое их противоправительственное движение во время войны объявлялось идущим из охранки и провокационным... Тогдашний главнокомандующий Петербурга генерал Хабалов в своем смехотворном воззвании за двое суток до революции полностью воспроизвел все эти светлые мысли главы российского национал-либерализма.

Другим фактом, к которому было тогда приковано внимание политических групп, был арест так называемой рабочей группы при Центральном военно-промышленном комитете.

Эта группа не пользовалась популярностью среди рабочих масс. Подавляющее большинство сознательного пролетариата столицы, а также и провинции занимало решительную антиоборонческую позицию и относилось резко враждебно к сотрудничеству с плутократией небольшой группы социал-демократов с К. А. Гвоздевым во главе. Это сотрудничество рабочих с Гучковыми и Рябушинскими на почве «организации обороны» было на деле, конечно, сотрудничеством в сфере «казенных заказов» и затемнения сознания пролетариата. Но тем более вопиющим был этот арест рабочей группы доблестным Протопоповым, грамотно оповестившим, что эта безобидная группа, под сенью Коновалова и Гучкова, подготавливает «социалистическую республику»...

Наконец, злобой дня петербургских политиков был тогда вопрос о передаче продовольственного дела столицы в руки городской думы. Это был очередной лозунг петербургских либералов и демократических кругов.

Продовольственная политика распутинского правительства и ее плачевные результаты, политиканство наивно-лицемерных думских групп и усилившееся преследование рабочих организаций составляли те вехи, за которые цеплялась мысль о «текущем политическом моменте» и о грядущих неизбежных событиях. Ни одна *партия не готовилась к великому перевороту*. Все мечтали, раздумывали, предчувствовали, «ощущали»...

Барышни-обывательницы, трещащие за стеной машинками и языками, ничего не понимали в революциях. Я не поверил ни им, ни непреложным фактам, ни собственным рассуждениям. Революция! – это слишком невероятно. Революция! – это, как всем известно, не действительность, а только мечта. Мечта поколений, долгих трудных десятилетий... И, не поверив барышне, я машинально повторил вслух:

– Да, это начало революции.

В следующие дни, в среду и четверг 22–23 февраля, уже ясно определилось движение на улицах, выходящее из пределов обычных заводских митингов. А вместе с тем обнаружилась и слабость власти. Пресечь движение в корне – всем аппаратом, налаженным десятилетиями, – уже явно не удавалось. Город наполнялся слухами и ощущением беспорядков.

По размерам своим такие беспорядки происходили перед глазами современников уже многие десятки раз. И если что было характерно, то это именно нерешительность власти, которая явно запускала движение. Но были *беспорядки* — революции еще не было. Светлого конца еще не только не было видно, но ни одна из партий в это время и не брала на него курса, стараясь лишь использовать движение в агитационных целях.

В пятницу, 24-го, движение разлилось по Петербургу уже широкой рекой. Невский и многие площади в центре были заполнены рабочими толпами. На больших улицах происходили летучие митинги, которые рассеивались конной полицией и казаками — без всякой энергии, вяло и с большим запозданием. Генерал Хабалов выпустил свое воззвание, где, в сущности, уже расписывался в бессилии власти, указывая, что неоднократные предупреждения не имели силы, и обещая впредь расправляться со всей решительностью. Понятно, результата это не имело. Но лишним свидетельством бессилия это послужило. Движение было уже явно запущено. Новая ситуация в отличие от старых беспорядков была ясна для каждого внимательного наблюдателя. И в пятницу я стал уже категорически утверждать, что мы имеем дело с революцией как с совершающимся фактом. Я, однако, слыл оптимистом. На меня махали руками.

Тем не менее работа, происходившая у меня в голове, основывалась уже целиком на факте начавшейся революции. Со всех сторон приходили сообщения о разрастающемся уличном движении. Но я уже перестал считать и регистрировать случаи революционных выступлений и столкновений. Мне казалось, что материала уже достаточно. И мои мысли уже тогда, в пятницу, были устремлены в другом направлении — в сторону *политической проблемы*.

Надо держать курс на радикальный политический переворот. Это ясно. Но какая форма и какая программа переворота? Кому надлежит быть преемником царского самодержавия? Именно это стало в центре моего внимания в этот день.

Я не скажу, чтобы эта огромная и ответственная проблема тогда доставила мне много затруднений. Впоследствии я гораздо больше раздумывал над ней по существу и сомневался в правильности ее тогдашнего решения. В период коалиционной канители и удушения революции политикой Керенского — Терещенко — Церетели в августе — сентябре 1917 года, а также после большевистского переворота мне нередко казалось, что решение этой проблемы в февральские дни могло, а пожалуй, и *должно было* быть иным. Но тогда эта проблема «высокой политики» была мною решена довольно легкомысленно, почти без колебаний.

Власть, идущая на смену царизма, должна быть только *буржуазной*. Трепова и Распутина должны и могут сменить только заправила думского «Прогрессивного блока». На такое решение необходимо держать курс. Иначе переворот не удастся, и революция погибнет.

Было бы совершенно неуместно останавливаться на подробной мотивировке этого вывода. Его я без числа обосновывал после в лекциях, речах и статьях.

Но укажу главные основания, которые и формулировал тогда же и которые мне до сих пор кажутся в конечном счете не только правильными, но и достаточными для того вывода, для того решения проблемы о новой революционной власти, которое я защищал тогда.

Я исходил из полной распыленности демократической России во время самодержавия. В руках демократии тогда не было никаких сколько-нибудь прочных и влиятельных организаций — ни партийных, ни профессиональных, ни муниципальных. А будучи распыленным, пролетариат, изолированный от прочих классов, в процессе революции мог создать лишь такие боевые организации, которые могли представлять реальную силу классово-борьбы, но не реальную силу государственной власти.

Между тем распыленной демократии, если бы она попыталась стать властью, пришлось бы преодолевать непреодолимое: техника государственной работы в данных условиях войны и разрухи была совершенно непосильна для изолированной демократии. Разруха государственного и хозяйственного организма была уже тогда огромной. Промышленность, транспорт, продовольствие были приведены в негодность уже самодержавием. Столица голодала. Государ-

ственная машина не только не могла стоять без дела ни минуты, но должна была с новой энергией, с обновленными силами, с усиленными ресурсами, не медля ни минуты совершить колоссальную техническую работу. И если власть будет такова, что не сможет привести в движение все винтики государственного механизма и пустить его полным ходом, то революция не выдержит.

Вся наличная государственная машина, армия чиновничества, цензовые земства и города, работавшие при содействии всех сил демократии, могли быть послушными Милюкову, но не Чхеидзе. Иного же аппарата не было и быть не могло.

Но все это так сказать *техника*. Другая сторона дела – *политика*. Установить демократическую власть и обойти «Прогрессивный блок» означало не только не использовать в критическом положении наличного государственного аппарата, не имея иного. Это означало сплотить ряды всей имущей России против демократии и революции. Позиция цензовой России и революции могла внушать сомнения на тот случай, если цензовикам предстоит быть властью. Но в случае *власти демократии* их позиция не могла внушать сомнений. В этом случае вся буржуазия, как одно целое, бросит всю наличную силу на чашу весов царизма и составит с ним единый, накрепко спаянный фронт против революции. Пытаться при всей совокупности данных условий отместить в сторону Львовых и Милюковых и установить власть Керенского и Чхеидзе – значит начать и кончить ликвидацию царизма одними распыленными силами петербургского пролетариата против всей остальной России. Это значит ополчиться против революции всю обывательскую массу, всю прессу, когда не только голод и развал грозят ежеминутно сорвать революцию, но и Николай II еще гуляет на свободе, именуясь всероссийским царем. При таких условиях захват власти социалистическими руками означает неизбежный и немедленный провал революции. Первая революционная власть в данный момент, в феврале, могла быть только буржуазной.

Был и еще аргумент более узкого значения, но казавшийся мне не менее убедительным. В течение войны я был одним из двух-трех авторов, которым удалось выступать в легальной печати с защитой антиоборонческой циммервальдской позиции. Оборончеством и снисходительным отношением к войне я не грешил никогда, ни одной минуты. И, в частности, в первые дни войны, когда патриотический подъем был, казалось, всеобщим; когда шовинистский угар или оборонческий образ мыслей, казалось, охватил всех без исключения, когда людей, правильно оценивающих значение войны и место царской России в войне, совсем не приходилось встречать даже среди социалистов, бывших тогда в России (исключение представлял Горький), я решительно отбрасывал от себя оборонческо-патриотические мысли и настроения. Напротив, в те времена я грешил другим, именно упрощением классово-пролетарской (будущей циммервальдской) позиции, несколько принижая ее в направлении к тому примитивному «пораженчеству», которое было свойственно широким слоям русского общества в эпоху японской войны. Во всяком случае, с начала войны и до революции каждое мое публичное выступление (литературное и всякое иное) было посильной *борьбой против войны*, борьбой за ее ликвидацию.

И вот, при первом раскате революционной бури я остановился перед практической невозможностью создания чисто демократической власти, между прочим, по той причине, что это означало бы *немедленную ликвидацию войны* со стороны демократической России. Продолжение войны демократической властью я, естественно, считал невозможным, ибо противоречие между участием в империалистической войне и победой демократической революции казалось мне коренным. Но присоединить ко всем трудностям переворота еще мгновенную и радикальную перемену внешней политики – со всеми последствиями этого, какие было невозможно предвидеть, – представлялось мне совершенно немыслимым. Между тем к политике мира, достойной диктатуры пролетариата, должны были присоединиться колоссальные задачи демо-

билизации, перевод промышленности на мирное положение, а следовательно, массовое закрытие заводов, огромная безработица при полном развале народного хозяйства.

Задачи внешней политики мне представлялось совершенно необходимым временно возложить на буржуазию, с тем чтобы при буржуазной власти, продолжающей военную политику самодержавия, создать возможность борьбы за скорейшую безболезненную ликвидацию войны. *Создание условий* для ликвидации, а не *самая ликвидация* войны – вот основная задача переворота. И для этого была необходима не демократическая, а буржуазная власть.

В общем проблема власти в моей голове разрешилась почти без колебаний и казалась мне очевидной. И в дни первого подъема революции 24–25 февраля мое внимание было поглощено уже не этой, так сказать, программной, а другой, *тактической* стороной этой политической проблемы.

Власть должна принадлежать буржуазии. Но имеются ли шансы на то, что она возьмет в руки власть? Какова позиция цензовых элементов в этом вопросе? Смогут ли они и захотят ли они идти в ногу с народным движением? Примут ли они власть из рук революции, оценивая все трудности своего положения, в частности, во внешней политике? Или же, учитывая эти трудности, они предпочтут отмежеваться от начавшейся революции и погубить движение, обрушившись на него со всей силой, вместе с царской кликой? Или, наконец, они решат погубить движение своим «нейтралитетом», предоставив его самому себе, выдав его стихии, которая выльется в анархию?

Это опять-таки одна сторона дела. А другая: какова позиция в этом вопросе социалистических партий, которые должны овладеть начавшимся движением, управлять им, указывать пути его? Сойдутся ли все социалистические группы в решении проблемы власти или, быть может, разгулявшаяся стихия будет использована некоторыми из них для безумно-ребяческих попыток установления диктатуры пролетариата и немедленной дележки неубитого зверя?

И естественно, поставив себе эти вопросы, надо было идти дальше. Если дело обстоит таким образом, если правильное решение вопроса о власти может быть сорвано с двух сторон, то нельзя ли немедленно *активно способствовать* правильному решению вопроса, нельзя ли активно принять участие в соответствующей комбинации общественных сил, хотя бы путем изыскания соответствующего компромисса?

И в соответствии с этим, когда в пятницу, 24 февраля, уличное движение разливалось по Петербургу все шире, когда революция стала объективным фактом и лишь неясен был ее исход, я чуть ли не пропускал мимо ушей непрерывные сообщения об уличных событиях. Все мое внимание было направлено к тому, что происходит в социалистических центрах, с одной стороны, и в буржуазных кругах, в частности среди думских фракций, – с другой.

Благодаря отсутствию в Петербурге того времени почти всякой общественности, а главным образом по причине моего нелегального положения, связанного с ответственной литературной работой, я хотя и имел обширные знакомства в самых различных слоях столицы, но все же никак не мог считать себя в курсе настроений различных групп, столкнувшихся в эти дни с совершенно новыми проблемами. Я чувствовал себя оторванным от какого-то основного русла или от основных русел, где сейчас как будто должны твориться события. И это ощущение оторванности и беспомощности, тоска по какому-то горнилу событий, неудовлетворенное стремление броситься в какие-то недра революции, чтобы делать свое дело, были моими доминирующими чувствами в эти дни.

Надо было первым делом собрать информацию по этой «высокой политике». Надо было направиться в такие центры обоих лагерей, где можно получить достоверные сведения. В пятницу вечером я позвонил в такой центр, который мог совмещать в себе (хотя и довольно несовершенно) настроения и освещать планы как буржуазных, так и демократических руководящих групп.

Я позвонил к знаменитому петербургскому политическому адвокату, числящемуся по традиции даже большевиком, но более связанному с петербургскими радикальными кругами, везде бывающему и все знающему Н. Д. Соколову, одному из главных работников первого периода революции. Мы условились созвать представителей различных групп и собраться на другой день, в субботу, у него на квартире, на Сергиевской, часа в три дня, для обсуждения положения дел и для обмена мнений. На этом совещании я надеялся уяснить себе позиции как цензовых, так и руководящих демократических элементов. А вместе с тем в качестве представителя *левого* крыла социализма я надеялся выступить с решительной защитой чисто *буржуазной* революционной власти, если это потребуется, а также и с требованием необходимого компромисса в интересах образования таковой власти.

Характер и пределы этого компромисса были ясны сами собой и уже к данному моменту намечались самим ходом событий. Уличное движение масс в февральские дни не обнаруживало никакой планомерности. Никакого правильного руководства им констатировать было нельзя. Вообще народным движением, как это бывает всегда, организованные социалистические центры не руководили и политически не вели его к какой-либо определенной цели. Конечно, традиционный, можно сказать, наш старый национальный лозунг «Долой самодержавие!» был на устах у всех многочисленных уличных ораторов из социалистических партий. Но это было еще не политической программой. Это было само собой разумеющееся отрицательное понятие. Проблема же власти совершенно не ставилась перед массами. И, в частности, лозунг «Учредительного собрания», будучи не очередной проблемой дня, а лишь общим программным положением всех социалистических партий, оставался совершенно в тени в эти дни.

Но зато во всю ширь развертывался перед массами в уличной агитации другой лозунг, включавший в себя крайне существенное и ответственное содержание. Это был лозунг «Долой войну!», под которым проходили все митинги февральских дней.

Развертывание этого лозунга при стихийном движении пролетарских масс и при самочинном руководстве этим движением отдельными социалистическими работниками без строго продуманной единой политической линии, определенной центром, было совершенно естественно и неизбежно. Российский социализм и российский сознательный пролетариат, не в пример социализму западноевропейскому воюющих стран (за исключением Италии), в своем большинстве занимал решительную позицию против гражданского мира и против поддержки империалистской войны. В течение военных лет наш пролетариат воспитывался, насколько позволяли условия, насколько хватало сил, в духе Циммервальда и войны против войны. Оборонческие группы, свившие себе по небольшому гнезду в обеих столицах (около военно-промышленных комитетов) и кое-где в провинции, не пользовались в массах никаким авторитетом. Что революция против царизма должна была по крайней мере среди столичного пролетариата, в его уличных выступлениях, совпасть с движением против войны, в пользу мира – в этом не было ничего удивительного и неожиданного. Напротив, иной картины уличного движения в февральские дни было невозможно ожидать.

Но вместе с тем совершенно ясно, что именно этот характер движения должен был определить отношение к нему, отношение ко всей революции со стороны всей цензовой *буржуазии*. Если эти элементы могли вообще принимать идею ликвидации царизма, то они могли принимать ее по преимуществу как средство успешного завершения войны. И именно *такой* характер приняла, именно в *это* выродилась борьба с царизмом всех наших либеральных групп в течение всего военного периода. Ликвидация распутинского режима стала мыслиться всей буржуазией лишь как путь к укреплению наших военных сил.

И понятно, что при таких условиях буржуазия не могла иметь ничего общего с движением, подрывающим идею войны до конца и до полной победы. Всякое подобное движение в ее глазах и во всяком случае в ее устах было лишь продуктом немецкой провокации. От него все цензовые группы должны были решительно отмежеваться. И такое движение они неизбежно

должны были не только предоставить самому себе, но обязательно должны были выдать его на разгром силам царской реакции, приняв сами посильное участие в этом разгроме.

Отсюда ясно само собой, что если перед революцией стояла необходимость отколоть буржуазию от Распутина и Протопопова и привлечь ее на свою сторону, мало того, если перед ней стояла задача создать цензовую революционную власть, единственно способную избавить переворот от гибели среди голода, всеобщего развала и свалки, то компромисс должен быть найден прежде всего *на этой почве, на почве отношения революции к войне и миру*. Было а priori⁴ ясно, что если рассчитывать на буржуазную власть и присоединить буржуазию к революции, то надо временно *снять с очереди лозунги против войны*, надо в данный момент на время свернуть циммервальдское знамя, ставшее знаменем русского, и в частности петербургского, пролетариата. Это надо сделать во имя успешного завершения великого переворота. И это было очевидно для меня – циммервальдца.

В своих стремлениях изыскать компромисс для обеспечения необходимой ближайшей программы переворота, для создания надлежащей власти естественно было пойти именно в этом направлении. Но вся трудность и противоречивость положения были очевидны.

И притом, если компромисс в том направлении был неизбежен, если без него создание цензовой власти было явно невозможно, то было совершенно не ясно, *достаточен ли* этот компромисс для этой цели, во имя которой он предпринимался? *Без него* буржуазия вместе с царизмом раздавит движение. Но он обеспечит ли иной финал революции? Он обеспечит ли по крайней мере образование цензовой власти? В этом направлении была необходима информация. Какие планы были в лагере Милюкова-Гучкова? Каковы могли быть там решения, независимо от данного компромисса и в связи с ним? Это было необходимо знать. Было необходимо знать и то, как может отнестись ко всему этому и противоположный лагерь; и нельзя было от себя скрывать, что на передовых социалистических работников, – если не на социалистический генералитет, то на социалистическое офицерство, уже беззаветно развернувшее свое циммервальдское знамя, – событиями возлагается чрезвычайно тяжелая, быть может, непосильная задача, требующая не только глубокого понимания событий, не только самообладания в огне начавшейся борьбы, но требующая такого самоограничения и подчинения обстоятельствам, которые с виду, извне могут казаться изменой своим основным принципам и могут быть не поняты руководимыми массами.

Тщательно ориентироваться в настроении обоих лагерей было необходимо прежде всего. Но сведения, долетавшие до меня как с той, так и с другой стороны, были самые неопределенные, не открывающие никаких перспектив. В думских кругах, сколько-нибудь широких, проблема революционной власти, как таковая, еще совершенно не ставилась. Никаких признаков сознания партиями и лидерами, что движение может кончиться радикальным переворотом, с моего наблюдательного пункта совершенно не замечалось. Замечался лишь курс на ликвидацию беспорядков. Замечалась боязнь «провокационного» движения. Замечалось стремление прийти на помощь царизму и «всем авторитетом» Государственной думы ликвидировать беспорядки. Замечалась вместе с тем попытка буржуазных групп играть на этом движении и столкнуться с царизмом насчет совместной борьбы ценой каких-либо поправок в политике и в организации власти.

Буржуазия была перепугана движением и была не с ним и, стало быть, против него. Но она не могла оставить его без внимания и без использования. *Политическим лозунгом буржуазии, к которому пристала и вся радикальная интеллигенция, было в эти дни «ответственное перед Думой министерство»*. На этот счет «Прогрессивный блок» сталкивался за кулисами, а демократическая интеллигенция открыто провозглашала этот лозунг направо и налево.

⁴ заранее

Вместе с тем делались попытки крохоборского решения некоторых насущных проблем, попытки, совершенно не зависящие от движения пролетарских масс и в общей постановке лишь затемняющие задачи, возникающие перед нашим обществом. Так, на субботу было назначено в городской думе собрание различных общественных организаций с участием представителей рабочих, где предполагалось чуть ли не революционным путем взять дело продовольствия Петербурга в руки петербургского самоуправления. И вокруг этого было мобилизовано общественное внимание.

В общем, с этой стороны, со стороны буржуазии, в пятницу, 24-го, было еще почти ничего не ясно, а что было ясно, было малоблагоприятно. На другой день, на субботу, утром, было назначено заседание думского «сеньорен-конвента», которому придавали важное значение. Я рассчитывал, что о результатах будет сообщено у Соколова.

Из другого лагеря пришлось видеться кое с кем из представителей большевиков и социалистов-революционеров циммервальдского толка. Впечатление из разговоров я вынес такое же неблагоприятное. Прежде всего подтвердилась полная расплывчатость движения и отсутствие крепких фактически руководящих центров. Затем обнаружилось полное равнодушие к тем проблемам, которые занимали меня. Все внимание целиком было поглощено непосредственной агитацией вокруг общих лозунгов и непосредственным форсированием движения. Наконец, мои попытки направить мысль собеседников в сторону конкретной программы, а тем более моя агитация по части создания революционной власти – да еще путем основного компромисса – встречались весьма скептически и неблагоприятно.

Между тем на движение могли оказать влияние по преимуществу именно эти левые циммервальдские центры, если вообще эти подпольные центры могли рассчитывать на какое-либо влияние. Таким образом, и с этой стороны, и из лагеря демократии сведения были малоопределенны и малоутешительны.

Движение петербургского пролетариата в эти дни и часы, однако, не ограничилось партийной агитацией, заводскими митингами и уличными манифестациями. Были попытки создать межпартийные центры, были совместные совещания деятелей различных отраслей рабочего движения – депутатов Думы, партийных представителей, профессионалов, кооператоров. Были такие собрания в четверг и в пятницу. Я не был там, но участники мне потом передавали, что разговоры были посвящены по преимуществу продовольственному делу, во всяком случае начинались с него. Но потом, разумеется, переходили и к общему положению дел, причем обнаруживали лишь разброд и растерянность центров. Присутствовавший Чхейдзе, как говорят надежные люди, был воплощенным недоумением и призывал к равнению по Государственной думе. Он представлял *правую* собрания и не склонен был верить в широкий размах движения. Напротив, левая предвкушала и прокламировала революцию, считая необходимым в экстренном порядке создать боевые рабочие организации в столице. Между прочим эту левую представлял на собрании старый ликвидатор и оборонец Ф. А. Череванин, от которого, как передавали, и исходила мысль о немедленных выборах на петербургских заводах *Совета рабочих депутатов*.

Во всяком случае, директива выборов исходила от этого инициативного собрания деятелей рабочего движения. Директива эта была немедленно подхвачена партийными организациями и, как известно, с успехом проведена на заводах столицы за эти дни. Об этих совещаниях подробно расскажут историкам их участники.

Но как бы то ни было, мне известно, что *политическая* проблема на них официально не ставилась и не решалась. Эти собрания имеют за собой огромную историческую заслугу в области подготовки лишь *техники и организации* сил революции. Что же касается политической позиции их участников, то здесь было засилье оборонческого меньшевизма, и не могло быть сомнений в том, что, поставив перед собой политическую проблему, эти элементы в большин-

стве своем решат ее в пользу буржуазной власти. Беда только в том, что они не имели сколько-нибудь серьезного влияния среди масс.

Между тем движение все разрасталось. Бессилие полицейского аппарата становилось с каждым часом все очевиднее. Митинги происходили уже почти легально, причем воинские части, в лице своих командиров, не решались ни на какие активные позиции против возраставших и заполнявших главные улицы толп. Особенную лояльность неожиданно проявили казацкие части, которые в некоторых местах в прямых разговорах подчеркивали свой нейтралитет, а иногда обнаруживали прямую склонность к братанию. В пятницу же, вечером, в городе говорили, что на заводах происходят выборы в Совет рабочих депутатов.

Последняя ставка 25-26 февраля

Петербург в субботу, 25-го. – Совещание у Н. Д. Соколова. – Его состав. – Доклад Керенского. – Думская буржуазия политиканствует. – Движение крепнет. – Власть разлагается. – Вопрос о расколе революционной демократии на почве военных лозунгов. Мое партийное положение. – Тогдашние партийные центры. – У Керенского. – Стычка и кровь на Невском. – Делают ставку. – У Горького. – «Летописцы» и партийные практики. – В городской думе. – Последнее воскресенье. – Патрули и цепи. – Наша экскурсия. – Кризис. Боевые действия. Их значение для политической ситуации. – Первый полк революции, восстание павловцев. – Перелом. Несколько слов о Керенском.

В субботу, 25-го, с утра Петербург был насквозь пропитан атмосферой исключительных событий. Улицы, даже там, где не было никакого скопления народа, представляли картину необычайного возбуждения. Я вспоминал атмосферу Московского восстания 1905 года. Все штатское население чувствовало себя единым лагерем, сплоченным против военно-полицейского врага. Незнакомые прохожие заговаривали друг с другом, спрашивая и рассказывая о новостях, о столкновениях и о диверсиях противника.

Но замечалось и то, чего не было в Московском восстании: стена между двумя лагерями – населением и властью – не казалась такой непроницаемой: между ними чувствовалась диффузия. Это увеличивало возбуждение и вливало в массы подобие энтузиазма.

Прокламации Хабалова срывались со стен совершенно открыто. Городовые-одиночки вдруг исчезли с постов.

Заводы стояли. Трамваи не ходили. Не помню, вышли ли газеты в этот день. Но, во всяком случае, события в несколько раз переросли все то, что могла сообщить населению тогдашняя придушенная пресса.

Утром я по обыкновению отправился в свое «туркестанское» управление в конце Каменноостровского проспекта. Но понятно, что было не до орошения Туркестана. Я позвонил А. В. Пешехонову, приглашая его к трем часам «на Сергиевскую к Николаю Дмитриевичу». Согласно конспиративным обычаям, хорошо знакомым всякому российскому интеллигенту, он не спросил ни о каких подробностях – зачем, в каком составе? – и обещал прийти или прислать кого-либо из своих единомышленников.

Во втором часу, пригласив по телефону еще одного представителя одной из левых организаций, я отправился на Сергиевскую, в квартиру, известную всему радикальному и демократическому Петербургу так же хорошо, как и всей столичной полиции. Об этой квартире я храню пренеприятное воспоминание: однажды осенью 1915 года, выйдя из этой квартиры с совещания в компании самых почтенных людей, совершенно игнорировавших целую роту филеров, которой мы были встречены у подъезда, я был принужден, как нелегальный, колесить в сопровождении одного из них по Петербургу целую ночь, а под утро во избежание ареста на улице привести его к подъезду «Современника», который я тогда редактировал и берег от полиции как зеницу ока...

До Сергиевской я забежал на Монетную, в редакцию «Летописи». Ни в редакции, ни в конторе также никакой работы не было. Все были полны событиями и новостями. Мне рассказывали, какие районы города оцеплены полицией и войсками и как лучше добраться до Таври-

ческого сада. Но рассказы эти не оправдались по той причине, что в действиях властей не было ни тени решительности и еще меньше планомерности. Районы оцеплялись и освобождались без всякого плана и смысла. Движение разливалось в общем совершенно свободно, начиная убеждать в бессилии Хабаловых и Треповых самых отъявленных пессимистов.

Почти у подъезда «Летописи», у ворот соседнего завода, я натолкнулся на небольшую группу штатских, с виду рабочих.

– Они чего хотят, – говорил один с мрачным видом. – Они хотят, чтобы дать хлеба, с немцем замирились и равноправия жидам...

«Не в бровь, а прямо в глаз», – подумал я, восхищенный этой блестящей формулировкой программы великой революции.

У Н. Д. Соколова меня ждало разочарование. Собрание не носило никакого подобия представительства организованных групп и не представляло сколько-нибудь полно даже демократических течений. Оно носило совершенно случайный и притом однотонный характер. Пришли главным образом представители радикальной «народнической» интеллигенции. В числе присутствующих, в большинстве довольно безличных, я помню Н. С. Русанова, В. М. Зензинова, Чернолуцкого. В такого рода собраниях даже теоретическое выяснение интересующих меня вопросов не представляло интереса.

Н. Д. Соколов ожидал прихода авторитетных представителей большевиков, но никто из них не явился. Вместо них явился Керенский, который пришел прямо с заседания думского «сеньорен-конвента» и мог служить, конечно, незаменимым источником информации о настроениях и планах руководящих политических групп буржуазии.

Рассказ Керенского, как всегда возбужденный, несколько патетический и несколько театральный, говорил главным образом о панике и растерянности буржуазно-депутатской массы. Что же касается лидирующих кружков, то все их помыслы и усилия сводились не к тому, чтобы оформить революцию, пристать к ней, попытаться овладеть ею и стать на ее гребне, а исключительно к тому, чтобы избежать ее. Предпринимались попытки сделок и комбинаций с царизмом; политиканская игра велась вовсю. Но все это было не только независимо от народного движения, но явно вопреки ему, явно за его счет, явно ему на гибель.

Надо сказать, однако, что Керенский меньше всего вел свой рассказ именно в таком освещении. Керенский, напротив, в такой растерянности одних и в спешных комбинациях других был склонен усматривать одни *благоприятные* симптомы, свидетельствующие об остроте положения. Закружившись в вихре событий, находясь в горниле политиканства, он явно не охватывал и не оценивал основных пружин и характерных штрихов возникающей революционной ситуации.

Между тем подчеркнуть отмеченные штрихи в позиции руководящей буржуазии крайне полезно. Мы знаем, как склонен или, по крайней мере, *был* склонен наш либерализм представлять роль в революции нашей буржуазии и, в частности, Государственной думы. Кому неизвестны постоянные, систематические утверждения, что именно цензовые круги, группировавшиеся вокруг Государственной думы, ликвидировали царизм, что именно они первые подхватили революционный порыв народа и чуть ли не самостоятельно произвели революцию?

Действительное положение дел мне еще придется до некоторой степени осветить в моих дальнейших записках (как сказано, отнюдь не претендующих на значение исторического очерка революции). В момент же, о котором идет речь, позиция буржуазии, от кадетов и прогрессистов до правых думских фракций, была совершенно ясна: это была позиция, с одной стороны, отмежевания от революции и выдачи ее царизму, с другой – использование ее для своих комбинаций. Но это, отнюдь, не была позиция *присоединения* к ней, хотя бы в форме ее покровительства.

Не получив из рассказа Керенского материала по особо интересующим меня сторонам дела, я предпринял безнадежные попытки осветить самому себе вопрос путем активного вме-

шательства, путем прямых и косвенных расспросов. Сам Керенский, конечно, мог иметь соответствующий материал в результате своего непрерывного общения с различными думскими кругами. Однако из моих попыток ничего не вышло, кроме недоразумения, показавшего, что для Керенского, как и для некоторых из присутствующих, поддержавших его, моя постановка вопросов и проблема о будущей власти кажутся никчемными и, во всяком случае, несвоевременными, не относящимися к делу. Я столкнулся с тем же настроением моих собеседников, с каким сталкивался и вчера у представителей левых (циммервальдских) групп, с какими сталкивался и впоследствии, до самого момента образования первой революционной власти.

Керенский принял обычный в разговоре со мной полемический тон и скоро начал сердиться, так что я предпочел прекратить беседу, не вызывавшую достаточного интереса у присутствующих.

В квартиру Н. Д. Соколова приходили новые люди и приносили совпадающие между собой известия о небывало грандиозном движении на улицах. Центральные части представляли собой сплошной митинг, причем население как будто особенно тяготело к Знаменской площади. Там с подножия памятника Александру III ораторы левых партий говорили непрерывно и совершенно беспрепятственно. Основным лозунгом было по-прежнему «Долой войну!», которая наряду с самодержавием толковалась как источник всех бедствий, и, в частности, продовольственной разрухи.

Вместе с тем сообщения говорили о растущем разложении среди полиции и войск. Полицейские и казачьи части в большом количестве разъезжали и расхаживали по улицам, медленно пробираясь среди толп. Но никаких активных действий не предпринимали, чрезвычайно поднимая этим настроение манифестантов. Полиция и войска ограничивались тем, что отбирали красные знамена в тех случаях, когда это было технически удобно и не обещало свалки.

В это время принесли первое сообщение о симптоматичном эксцессе в какой-то казачьей части. Полицейский пристав, ехавший верхом во главе полицейского отряда, бросился с пашкой на знаменосца или на оратора; тогда на него налетел бывший неподалеку казак и отрубил приставу руку. Пристава унесли, но, как говорили, никаких дальнейших последствий на улице этот инцидент не имел...

Наше заседание приняло окончательно характер беспорядочной, приватной беседы. И, помню, Н. Д. Соколов ко мне, в частности, обратился с речью, содержание которой я оценил лишь впоследствии. Как представитель оборонческого течения, он указывал на опасность тех антивоенных лозунгов, вокруг которых происходит народное движение, на которых партийными ораторами фиксируется по преимуществу внимание масс. Соколов подчеркивал при этом не ту сторону дела, которая все время интересовала меня – не неизбежный отказ буржуазии присоединиться к революции при таких условиях, он указывал на неизбежность раскола на этой почве в среде самой демократии, даже в среде пролетариата. Этой стороне дела я тогда не придавал значения просто потому, что слишком верил (может быть, преувеличивая) в монопольное господство среди масс тех партий и течений, которые представляли социалистическое меньшинство в Германии или во Франции. К тому же характер наступившей революции был совершенно неясен, и, в частности, никто не мог предусмотреть роль в ней армии с ее офицерско-мужицким составом. Раскол в самих активных революционных пролетарско-армейских кадрах вскоре же оказался действительно важнейшим фактором, при свете которого приходилось направлять всю военную политику революционной демократии. Но тогда этой стороной дела я не интересовался, уделяя свое главное внимание позиции крупнобуржуазных кругов и их отношению к революции.

Однако так или иначе мы вполне сходились с Н. Д. Соколовым в наших практических выводах. Как человека, более и определеннее других выступавшего против войны, как литератора, имевшего довольно прочную репутацию пораженца, интернационалиста и ненавистника патриотизма, Н. Д. Соколов убеждал меня выступить сейчас как можно решительнее против

развертывания антивоенных лозунгов и содействовать тому, чтобы движение проходило не под знаком «Долой войну!». Он говорил, что в моих устах соответствующие аргументы будут лишены злого контрреволюционного характера и будут более убедительны для руководителей движения. Начавшись же как движение против войны, революция погибнет от немедленных внутренних раздоров.

Как бы ни относился я к такой аргументации, но я всецело сочувствовал ее конечным выводам и обещал мое полное содействие оборонцам и радикальным, группам против последовательных классовых интернационалистских принципов против своих собственных принципов.

Не надо, однако, думать, что я придавал сколько-нибудь существенное значение этому содействию и рассчитывал как бы то ни было повлиять на движение; напротив, я делал и говорил то, что считал нужным, но я чувствовал себя совершенно оторванным от центров революции и вполне бессильным что-либо сделать. Ни малейшего влияния на руководящие центры движения я за собой не числил.

Надо упомянуть здесь, что начиная с 1906–1907 годов я не был связан формально ни с одной из партий и организаций. Мое положение «дикого», конечно, исключало возможность непосредственной, а тем более какой-либо руководящей работы в практическом социализме. Я был литератором по преимуществу. Но моя литературная деятельность была все же тесно связана с движением, а за время войны мои работы благодаря случайным обстоятельствам были популярны среди широких кругов социалистических деятелей и служили им материалом для практической работы. Вместе с тем не связанный формально и организационно, я был связан фактически, в силу личных знакомств и деловых сношений, со многими, можно сказать, со всеми социалистическими партиями и организациями Петербурга.

Здесь совсем не место и вообще не особенно интересно описывать мое положение среди партий и выяснять его источник. Скажу только, что еще с эпохи редактирования мною «Современника», который мне, несомненно, удалось сделать межпартийным литературным центром и собрать в нем видные силы всех социалистических течений, я сохранял довольно тесные связи со всеми социалистическими партийными кругами. Центры довольно хорошо знали меня и нередко использовали по различным делам. И, в частности, уже в качестве редактора «Летописи» я сохранял самые интенсивные сношения с литературно-социалистической *эмиграцией* разных направлений. Во время войны меня постоянно привлекали в различные нелегальные литературные предприятия интернационалистского оттенка. А кроме того, вероятно, ни одна попытка межпартийных блоков, объединений, коалиций в последние годы не обходилась без моего участия. В таком положении я находился и ко времени революции.

Это положение во время революции представляло и некоторые несомненные выгоды с точки зрения легкости личных сношений и подвижности между теми пунктами, которые представляли преимущественную важность и интерес. Но это положение лишало меня и выгод партийного человека и руководителя, ибо я все же оставался для всех «диким» и чужим.

А между тем необходимо припомнить и подчеркнуть сейчас же все своеобразие тогдашней партийной обстановки и все отличие партийных центров Петербурга от тех, которые возникли в период революции, а именно: авторитетнейших руководителей, партийных лидеров *не было налицо* ни в одной из партий, почти без исключения. Они были в ссылке, в тюрьмах или в эмиграции. На постах ответственных руководителей великого движения в ответственные его моменты стояли люди совершенно второстепенные, может быть, искусные организаторы, но во всяком случае рутинеры обычной партийной работы эпохи самодержавия. Надлежащих *политических* горизонтов в новой обстановке, действительного политического руководства событиями, словом, действительной высоты положения от них в огромном большинстве случаев было ожидать нельзя. В ряду таких руководителей движения я чувствовал

себя полноправным и небесполезным. Но я был оторван от их работы. И кроме сознания бессилия как-либо повлиять на события в моем мозгу ничего не было во время беседы с Соколовым.

Публика стала расходиться – кто на улицу, кто в другие комнаты, кто по домам. Керенский сорвался с места и, заявив, что он снова направляется в Думу, переполненную депутатами с утра до вечера, пригласил меня и Зензинова зайти к нему примерно через час узнать последние новости. Протолковав на разные темы еще с полчаса у Соколова, мы с Зензиновым потихоньку направились к Керенскому. Мы вспоминали Москву 1905 года, перебирали сцены Декабрьского восстания, в котором участвовали оба. Но в районе Сергиевской, Тверской, Таврического сада было тихо и пустынно. Отметить это небезынтересно. Народ *не тяготел к Государственной думе*, не интересовался ею и не думал ни политически, ни технически делать ее центром движения. Наши либеральные политики, которые 14 февраля объявляли движение, приуроченное к созыву Думы, провокационным, потом прилагали все усилия к тому, чтобы Думу сделать знаменем движения, а ее судьбу – поводом и причиной его. Со всем этим нам еще придется иметь дело. Но все эти тенденции не имеют ни малейшего подобия истины.

Керенского мы, однако, дома не застали. В переднюю к нам выбежали его два мальчика, бывшие в курсе событий, и рассказали, что «папа недавно звонил из Думы». Он сообщил, что на Невском происходит стрельба, что жертв много.

В это время вернулась со службы жена Керенского – Ольга Львовна. Она служила в каком-то общественном учреждении, помещавшемся приблизительно в центре Невского проспекта, близ Казанской площади. Из окон своего учреждения она только что видела огромную манифестацию, направляющуюся со знаменами к Знаменской площади. Манифестация была обстреляна ружейным огнем, стрельба продолжалась несколько минут, была свалка. Но какая именно воинская часть стреляла и каковы жертвы, ни разглядеть в сумерках, ни разузнать не удалось.

Развязка близилась. Не делать попыток для подавления беспорядков было для властей теперь совершенно немислимо. Это значило окончательно и без возврата сложить оружие и стать перед совершившимся фактом поражения существующего строя. Власти *должны* были, не медля ни часа, найти и пустить в дело надлежащую военную или полицейскую часть. Коллебания и промедления были явно и буквально подобны смерти. Момент был, решающий судьбу векового царизма... Какая именно часть расстреливала на Невском манифестацию вечером 25 февраля, я не знаю до сих пор. Но так или иначе властям удалось перейти в наступление. Это был поворотный пункт событий, вступивших в новую фазу.

Если бы сил для наступления хватило, если бы удалось терроризировать безоружное и все еще распыленное население и разогнать его по домам, движение могло быть так же (хотя бы и ненадолго) ликвидировано, как раньше десятки раз ликвидировались беспорядки. Важно было преодолеть мертвую точку и, сбив настроение масс одним ошеломляющим ударом, пресечь вместе с тем разложение в воинских частях. Рискованная, отчаянная, быть может, последняя попытка должна была быть сделана без промедления. И она была сделана и оказалась последней.

Когда мы с Зензиновым вышли от Керенского, было уже почти совершенно темно. Пройдя от Смольного всю Тверскую, мимо слабо освещенного Таврического дворца и его безмолвного сквера, мы пошли по Шпалерной. Я пробирался к себе на Петербургскую сторону.

Никаких выстрелов не было слышно. Ближе к Литейному, где мы расстались, встречались небольшие группы рабочих, которые передавали слухи о начавшемся наступлении: кровавые, хотя и небольшие стычки начались кое-где на рабочих окраинах. Некоторые крупнейшие заводы были заняты, а иные – осаждены войсками. В некоторых местах нападавшим оказывался отпор пистолетными выстрелами рабочей молодежи, а больше – камнями подростков.

На Выборгской стороне, как сообщали прохожие, из вагонов трамвая и телеграфных столбов строились баррикады.

Пересекши по льду пустынную Неву от Литейного к Троицкому мосту, я зашел на Кронверкский к Горькому. У него я застал небольшую компанию, в том числе остальных членов редакции «Летописи» – Базарова и Тихонова, с которыми, обсуждая события, я не замедлил вступить в яростный спор. Мои собеседники, подобно прочим, отказывались вместе со мной в первую голову поставить проблему организации революционной власти и интересовались по преимуществу фактическим ходом событий. И они оценивали события несравненно более пессимистически, подтрунивая над моими «жареными рябчиками». В частности, помню, Тихонов без особого сочувствия принимал мои замечания о необходимости «работы на Милюкова» и тем подливал масла в огонь спора.

Однако пользуясь случаем отметить, что у нас в редакции «Летописи» в течение всего периода работы, несмотря на нередко появляющиеся бог весть откуда слухи о расколе, царил полнейший, быть может, беспримерный и даже нас самих удивлявший контакт. Общие основы наших взглядов в постоянных беседах, в постоянной борьбе нашего единственного интернационалистского органа того времени со всем прочим литературным миром настолько определились и настолько были унифицированы, что мы не могли разойтись по кардинальному вопросу революции, о которой мы столько толковали и мечтали. Наш спор происходил не из глубины воззрений. И действительно, к Горькому один за другим приходили люди как знакомые, так и незнакомые как мне, так и самому Горькому. Приходили посоветоваться, поделиться впечатлениями, расспросить и разузнать, что делается в различных кругах. Горький, естественно, имел связи со всем Петербургом сверху донизу. Завязывались разговоры, и мы, редакция «Летописи», не замедлили составить единый фронт против представителей левых, интернационалистских представителей наших собственных взглядов, не хотевших и слышать об измене своим старым лозунгам в решительный момент.

Между тем приходили довольно ответственные руководители большевиков. И их прямолинейность, а вернее, их неспособность вдуматься в политическую проблему и поставить ее производили на нас угнетающее впечатление. Однако, надо сказать, что наши аргументы все же не оставались без влияния на этих людей, явившихся прямо от рабочих котлов и партийных комитетов. Эти люди в эти дни варились совершенно в иной работе, обслуживая *технику* движения, форсируя решительную схватку с царизмом, организуя агитацию и нелегальную печать. И наша аргументация заставляла их задумываться уже самой новизной огромных проблем, впервые представших перед их сознанием.

Горький принимал в этих разговорах самое активное участие. Кроме большевиков, с которыми Горький был связан по традиции более других социалистических организаций, приходили и другие; из них некоторые через двое суток оказались моими товарищами по Исполнительному Комитету. Квартира Горького начала быть естественным центром если не какой-либо организации, то информации и тяготения различных элементов, так или иначе связанных с движением. Мы сговорились на другой день около полудня собраться у него.

В это самое время шло заседание общественных организаций в городской думе. Официально оно было посвящено продовольственному вопросу, но, разумеется, целиком проходило под знаком общей политики и растущей революции. Возбуждение переполненного зала было огромное. Думские депутаты – Керенский, Скобелев – произносили зажигательные речи, насыщенные новой, доселе публично еще не употребляемой революционной терминологией, возбуждавшей страсти и энтузиазм. Их практическим лозунгом было, однако, не что иное, как «ответственное министерство». И здесь к думской левой охотно присоединялась и либеральная (думская же) буржуазия в лице выступавшего Шингарева и других.

Перед началом этого собрания на Старом Невском в помещении Петербургского союза потребительских обществ заседало и вышеупомянутое совещание деятелей рабочего движе-

ния, профессионалов и кооператоров. После заседания участники его разделились: большая часть их отправилась в городскую думу, а остальные – на Литейный проспект, в помещение рабочей группы Центрального военно-промышленного комитета. И здесь все пришедшие вместе с остатками рабочей группы были арестованы полицией. Об этом было немедленно сообщено в городскую думу, и это произвело огромный эффект. Действуя на глазах у народа, подталкиваемые левыми депутатами и собравшимися возбужденными рабочими, либеральные думцы с Шингаревым во главе «изнасиловали» городского, голову Лелянова, отправив его к телефону добиваться от градоначальника немедленного освобождения арестованных. «Помилуйте! Какая возможна общественная работа, какое возможно содействие правительству в продовольственном деле, когда...» и т. д... Лелянов добился от градоначальника положительного ответа.

Еще большее возбуждение вызвала стрельба на Невском, когда в городскую думу стали приносить раненых и пришлось превратить одну из комнат в лазарет. Выступали, производя эффект среди интеллигентской публики, несколько рабочих прямо от станков, которые добросовестно использовали весь наличный материал для агитации.

Вообще, все собрание не замедлило утратить всякое подобие делового заседания «авторитетных», «влиятельных» и, конечно, вполне лояльных организаций и превратилось в революционный митинг. Понятно, что это и требовалось в данный момент. Деловые «заклучения» и «представления» правительству по продовольственному делу были сейчас, по меньшей мере, ничемны.

Но революционный митинг так и ограничился агитацией, не сумев сформулировать ни «резюме» политической обстановки, ни практических лозунгов... Было решено собраться на следующий день, в воскресенье. Но это не удалось в силу нижеописанных обстоятельств...

К тому часу, когда в Петербурге обычно запирали ворота, я отправился от Горького домой, чтобы успеть по обыкновению проскользнуть незамеченным мимо дворника в свою квартиру черным ходом. На улицах было тихо. По-прежнему не оставляло сознание беспомощности и сосала тоска по непосредственной большой работе.

На другой день, в воскресенье, 26 февраля, я снова отправился к Горькому. На улицах висели, а также валялись сорванными и скомканными новые прокламации генерала Хабалова. Расписываясь в них всенародно в своем бессилии и указывая, что его прежние предупреждения не повели ни к чему, он снова угрожал «решительными» мерами и «применением оружия» против «беспорядков» и «скоплений». Этот день, действительно, прошел под знаком решительных мер и применения оружия. Последняя отчаянная попытка была предпринята. На карте стоял вековой режим, воплощавший в себе не только рухлядь старых привилегий, но и надежды буржуазии, почуявшей более опасного врага. *День* прошел в последней схватке, среди звона оружия и порохового дыма. *Вечер* показал, что игра проиграна, к вечеру карта была бита.

Осада заводов и рабочих кварталов продолжалась и была усилена. На улицы в большом количестве были двинуты пехотные части, которые оцепили мосты, изолировали районы и принялись основательно очищать улицы.

Около часа дня на Невском пехота, как известно, довела ружейный огонь до огромной интенсивности. Невский, покрытый трупами невинных, ни к чему не причастных людей, был очищен. Слухи об этом быстро облетели город. Население было терроризировано, и уличное движение в центральных частях города было ликвидировано.

Часам к пяти уже могло казаться, что царизм снова выиграл ставку и движение будет раздавлено.

Однако и в эти критические часы атмосфера на улицах была совершенно иная, чем приходилось много раз наблюдать при подавлении беспорядков. И, несмотря на панику обывателя, на неизбежную психологическую реакцию сознательных демократических групп, эта атмосфера продолжала давать все основания для самого законного оптимизма.

Отличие от прежних «беспорядков» заключалось в состоянии и во всем внешнем облике «подавляющих» движение армейских, казачьих и даже полицейских частей. Кого-то из них, быть может юнкеров, заставили стрелять, и этим терроризировали безоружную распыленную толпу. Другие послушно стояли густыми цепями вокруг некоторых пунктов. Третьи, также послушные приказу, группами ходили по городу в качестве патрулей. Но все это носило какой-то случайный, несерьезный, ненастоящий характер. И цепи, и патрули имели такой вид, что они жаждут организованного насилия над собой, высматривают и ищут повода для сдачи. Городовые-одиночки вообще давно уже исчезла. Патрули, не маршировавшие, а разгуливавшие по городу, действительно были обезоружены во многих местах без сколько-нибудь серьезного сопротивления. В каждой толпе и группе серело огромное количество органически слившихся солдатских шинелей...

Часа в два или три мы от М. Горького небольшой компанией отправились на улицы за личными наблюдениями.

С Петербургской стороны мы хотели пробраться на Невский. Толпа по направлению к Троицкому мосту становилась все гуще и гуще. Она, запружая скверы, Каменноостровский проспект и площадь перед Троицким мостом, разбивалась на множество групп, центрами которых были люди, возвращавшиеся из города на Петербургскую сторону.

Независимо от пола, возраста и состояния, одни по слухам, другие в качестве очевидцев возбужденно рассказывали о расстрелах случайной, неорганизованной и неманифестировавшей толпы на больших центральных улицах. А вместе с тем все рассказчики сходились в своих впечатлениях о паническом и растерянном состоянии стрелявших частей, которые открывали беспорядочную пальбу вдоль улиц на огромном расстоянии от «противника». Рассказывали об огромном количестве жертв, причем в цифрах, конечно, расходились – от немногих десятков до многих тысяч.

Мы пробирались к мосту. На стене Петропавловской крепости царило оживление и были видны около пушек вооруженные отряды пехотинцев. Толпа ожидала оттуда наступательных действий и с любопытством смотрела туда, но не расходилась.

На мосту, заграждая вход, стояла плечом к плечу цепь солдат Гренадерского полка. Несмотря на присутствие офицера, они держались весьма вольно, оживленно беседуя с толпой на политические темы. Агитация их была в полном ходу, в терминах, совершенно недвусмысленных. Солдаты посмеивались, иные сосредоточенно слушали и молчали. Пропустить сквозь цепи через мост они отказывались, но дело не обходилось без просачивания отдельных прохожих, которых не возвращали. Вообще, прямого неповиновения не было, но для активных операций это был явно негодный материал, и начальствующим лицам отряда явно не оставалось ничего делать, как пассивно созерцать сквозь пальцы эту картину «разврата».

Чтобы этот отряд взял ружья на прицел и открыл пальбу по своим собеседникам, было немыслимо, и никто из толпы не верил в такую возможность ни на минуту. Напротив, солдаты явно не имели ничего против того, чтоб их фронт был прорван, и, вероятно, многие поделились бы своим оружием с толпой. Но в толпе не было ни таких намерений, ни таких сил...

Мы возвратились к Горькому, который сносился по телефону с различными представителями буржуазного и бюрократического мира. Его основным впечатлением была та же, царившая среди них растерянность и незнание, что предпринять. Собеседниками Горького не были центральные фигуры, но и периферия достаточно отражала настроение руководящих сфер. Как это ни странно, но расстрелы оказали большое влияние на всю ситуацию; они произвели крайне сильное впечатление не только на обывателей, но и на политические круги, и из них раздавались голоса о «самых решительных представлениях».

В этом было противоречие обывательской психики и классового привилегированного положения; ведь было ясно не только царскому холопу Хабалову, но и боящемуся превыше всего революции национал-либералу Милюкову, что спасти старый строй можно лишь отча-

янной попыткой кровавого подавления. Больше царизму, равно как и тем, для кого царизм был лучше революции, делать было нечего. Но все же расстрелы вызвали явную реакцию полеве-ния среди всей буржуазной политиканствующей массы...

Я звонил по телефону в квартиры многих левых деятелей – писателей, депутатов, но большей частью безуспешно. В квартире Керенского (119-60) я поймал Соколова, который сидел с Ольгой Львовной в ожидании сведений из Думы, но он не мог сообщить мне ничего существенного. Большинства из тех, кому я звонил, не было дома, другие говорили только о расстрелах, и, в общем, они подтверждали сдвиг на этой почве более правой части общества и стремление использовать создавшуюся ситуацию со стороны более левых.

Но в общем «высшая политика» в эти часы проходила по-прежнему – не под знаком революции и низвержения царизма, а под знаком соглашения с ним на почве его некоторого обуздания. По телефону сообщали, что районы города разъединены и пробраться в центр нет возможности. Иными это опровергалось. Но не было определенной цели, с которой можно было бы пуститься в экскурсию. Все депутаты были безвыходно в Думе, куда доступа не было. К Горькому по-прежнему приходили люди и стекались сведения. И как ни мало это могло уволить волнение и тоску по «горнилам событий» и по работе, приходилось оставаться там.

Время проходило в расспросах, бесплодных умозаключениях и спорах, становившихся нудными и трепавших нервы. В рабочих районах, по слухам, продолжалось уличное движение и митинги. Из Выборгского, самого боевого, впоследствии большевистского, района сообщали о серьезных активных выступлениях рабочих против полиции и войск. По временам слышалась отдаленная ружейная пальба.

Часу в восьмом Горький позвонил, между прочим, Шаляпину, спрашивая, что слышно в его сферах. Шаляпин рассказал странную историю. Ему только что звонил Леонид Андреев, квартировавший в доме на Марсовом поле, рядом с павловскими казармами. И он лично видел из окна, как какая-то пехотная часть с Марсова поля в течение долгого времени систематически обстреливала павловские казармы. Больше ничего Андреев сообщить не мог, и насчет смысла всего этого, по словам Шаляпина, они оба в полном недоумении... Сомневаться в достоверности этих сведений как будто было нельзя. Но истолковать их действительно не было возможности.

Я усилил свою телефонную деятельность и, к счастью, вскоре попал на Керенского, который явился на минутку домой из Государственной думы. Керенский немедленно сообщил в самых категорических выражениях, что *Павловский полк восстал*. Большая часть его вышла на улицу и вступила в перепалку с оставшимся в казармах, верным царю или пассивным меньшинством. Эту перепалку и видел из своего окна Л. Андреев.

События сразу вышли на новый путь, предвещавший победу. Восстание полка в общей обстановке последних дней означало почти наверняка битую карту царизма. Однако в устах Керенского события были преувеличены.

Как выяснилось потом, дело обстояло следующим образом. Небольшой отряд конной полиции имел директиву разогнать толпу, скопившуюся на Екатерининском канале; ради безопасности городские стали стрелять в нее с противоположной набережной, через канал. В это время на Екатерининском канале по набережной, занятой толпой, проходил посланный куда-то отряд павловцев – четвертая рота, вся или часть ее. И здесь произошел исторический факт, знаменовавший перелом событий, открывший новые перспективы движения. Видя картину расстрела безоружных, видя раненых, падающих около них, находясь сами в районе обстрела, павловцы открыли огонь через канал по городским.

Это был первый случай открытого массового столкновения между вооруженными отрядами. Его подробно описал нам товарищ (не помню – кто), пришедший позднее в квартиру Горького; он проходил в это время по Екатерининскому каналу и видел лично раненых городских и их окровавленных лошадей. Павловцы же вернулись к своим казармам уже в каче-

стве бунтовщиков, сжегших свои корабли, и призывали товарищей присоединиться к ним. Тут и произошла перестрелка между верной и восставшей частью полка. Насколько со стороны павловцев все это было сознательным актом и насколько результатом мгновенного инстинкта, нервного подъема и простой самозащитой, невозможно сказать. Но объективное значение этого «дела» на Екатерининском канале было огромно и вполне очевидно. Павловскому полку, во всяком случае, принадлежит честь первого в революции выступления армии против вооруженных сил царизма.

Никаких сомнений ведь ни для кого быть не могло; ни о какой конечной победе революции не могло быть речи без победы над армией, без перехода армии – активно или пассивно, но непременно в большей своей части – на сторону революционного народа. И Павловский полк положил этому начало вечером 26 февраля.

Это была страшная брешь в твердыне царизма. Это снова разрешало кризис в течении событий, кризис, созданный наполовину успешными попытками царских властей раздавить движение оружием. Теперь снова после депрессии нас всех охватывал дух оптимизма и, можно сказать, энтузиазма, а мысли снова обращались к политическим проблемам революции. Ибо события снова повернули курс на революцию, заставляя презирать все попытки и все надежды ликвидировать движение гнилым компромиссом с распутинским режимом...

Керенский сказал, что у него собралось несколько человек из близких ему кругов. Но никаких сколько-нибудь содержательных, практических «резюме» политического положения Керенский по-прежнему не дал. Соответствующего материала, очевидно, не давали ни непрерывное варевое в Думе, ни впечатления от каких-либо иных сфер. Думский «Прогрессивный блок» с каждым часом левеет – вот и все, что мог сообщить Керенский. Собравшаяся у него компания уже расходилась, да и ничего существенного в смысле информации не обещала. Идти туда, рискуя не преодолеть всех полицейских препятствий, не было смысла.

Часу в одиннадцать я позвонил в Государственную думу с целью вызвать первого попавшегося левого депутата. К телефону подошел Скобелев, сообщивший, что Таврический дворец уже пуст. Все разошлись растерянные, потрясенные, истрепанные. Боевое настроение растет и ползет налево. На завтра назначено заседание. Но ходят слухи, почти достоверные, о том, что утром будет объявлен указ о роспуске Государственной думы. Больше ничего Скобелев рассказать не мог.

Мы сидели и толковали у Горького до глубокой ночи. События развертывались явно благоприятно. Передавали о выступлениях некоторых других воинских частей.

Я отправился домой, не разбирая времени, и смело разбудил звонком швейцара, пройдя через парадную дверь.

На улицах было тихо.

Несколько слов о Керенском

В качестве дополнения или подстрочного примечания ко всему вышеописанному, может быть, здесь будет уместно сказать несколько слов о Керенском. Конечно, я заранее отказываюсь от малейшей попытки дать не только историческую характеристику, а и сколько-нибудь законченный «силуэт». Но несколько слов о Керенском мне представляются здесь весьма небесполезными, просто как такой комментарий к изложению, без которого многое и многое, по моему, проиграет в своей ясности или в своей яркости.

Керенского я знаю уже довольно давно, со времени моего возвращения из архангельской ссылки, после которой я переселился из Москвы в Петербург, в самом начале 1913 года. Начиная с этого времени мои сношения с ним – и на почве общественно-деловой, и на почве личного знакомства – представляли собой если не очень плотную, то, во всяком случае, непрерыв-

ную цепь. Я видел Керенского в самой различной обстановке, во всевозможных видах, начиная с адвокатского фрака в суде, продолжая думской визиткой или пиджаком в больших и малых собраниях и кончая его ослепительно-пестрым туркестанским сартским халатом, который он вывез со своей родины.

Я был свидетелем десятков его больших и малых выступлений в качестве думского оратора, политического референта, информационного докладчика, интимного рассказчика, собеседника в тесных кружках, не превышающих 3-5-7 человек, и, наконец, я видел его в качестве отца семейства – с женой и двумя его мальчиками. Видел я его и за деловой, будничной, кропотливой работой во фракции «Трудовой группы», председателем которой он состоял.

Во время моего нелегального положения я много-много раз ночевал у него на Загородном проспекте, 23, и нередко после того, как он устраивал для меня постель в своем кабинете, начинались длиннейшие, истинно русские разговоры один на один, до глубокой ночи. Не раз он являлся ко мне в «Современник», по обыкновению как буря врывается в переднюю, оставив неотлучную пару своих «шпиков» караулить у подъезда редакции и заставляя меня потом удваивать меры предосторожности.⁵

Начиналось всегда с информации, с рассказов депутата, варившегося в самом котле, в самом пекле новостей и тогдашней убогой общественности. Но эти рассказы немедленно и постоянно переходила в самую язвительную полемику, в самый отчаянный спор. Эти споры как будто никогда не кончались озлоблением, они оставались без влияния на личные отношения. Но никакое наше взаимное «признание» и никакая интимная обстановка не могли ни на минуту заглушить сознания, что мы не сходимся ни в чем, что к каждому партийному (или, точнее, межпартийному) и к каждому общественно-политическому вопросу мы подходим с равных концов, что мы мыслим о нем в разных плоскостях, что мы в результате люди из двух лагерей в политике, из двух миров – по умонастроениям...

Да, тяжелое бремя история возложила на слабые плечи!.. У Керенского были, как говаривал я, золотые руки, разумея под этим его сверхъестественную энергию, изумительную работоспособность, неистощимый темперамент. Но у Керенского не было ни надлежащей государственной *головы*, ни настоящей политической *школы*. Без этих элементарно необходимых атрибутов незаменимый Керенский издыхающего царизма, монополюный Керенский февральско-мартовских дней никоим образом не мог не шлепнуться со всего размаха и не завязнуть в своем июльско-сентябрьском состоянии, а затем не мог не погрузиться в пооктябрьское небытие, увы, прихватив с собой огромную долю всего завоеванного нами в мартовскую революцию.

Но он был действительно незаменим и монополен. Для меня, как видно будет из дальнейшего, уже тогда не могло быть сомнений в линии его политического развития. Но также несомненно было для меня, что именно Керенский с его «золотыми руками», с его взглядами и направлением, с его депутатским положением, с его исключительно широкой популярностью волей судеб назначен быть центральной фигурой революции, по крайней мере ее начала.

В последние встречи до февральских дней, когда чувствовалась близость какой-то радикальной развязки, мы неоднократно заводили речь о том, что можно сделать и что надлежит делать различным общественным группам, какие мероприятия в Петербурге и в провинции необходимы были бы в первую голову в момент взрыва и после взрыва... Без надлежащей веры в серьезность своих разговоров, предположений и рассуждений в интеллигентских кружках,

⁵ Как известно, Керенский фигурировал в охранке под кличкой «Скорый». Действительно, он стремглав бежал по улицам, прыгая в трамвай и выпрыгивая на ходу обратно. Филеры не поспевали за ним пешком, и, кроме двух пеших, при Керенском стоял еще извозчик. Наблюдение за будущим премьером стоило государству недешево. Из окон «Современника», потушив огни, мы наблюдали, как шпики, завидев в подъезде выбегающего Керенского, спешно усаживались на извозчика и катили за ним. Я же по большей части оставался в редакции ночевать, подвергая огромному риску юридического хозяина квартиры, издателя П. И. Певина, и безмерно радушную фактическую хозяйку, заведующую нашей конторой Е. П. Катаеву, незаменимую помощницу и верного друга чуть ли не во всех предприятиях, где я с тех пор участвовал

с участием Керенского, немало говорилось о «планах и схемах» переворота. Я совершенно определенно высказывал, что так или иначе Керенскому *придется* стать в центре событий. И он не спорил с этим, не ломаясь и не напуская на себя смирения паче гордости.

Помню, совсем незадолго до Февраля я зашел к нему во время его болезни в праздничный день на последнюю приватную квартиру на Тверской, около Смольного, где большевистские власти произвели потом такой лихой «обыск» у его жены, больше напоминающий военную экспедицию... Керенский сидел в кабинете один, в теплой серой фуфайке, стараясь согреться в холодной комнате. В руках у него была новая книжка «Летописи», и он не замедлил обрушиться на меня с полемическими сарказмами. Но потом разговор неожиданно принял мирный, умозрительный характер насчет грядущих событий и революционных перспектив. И помню, я мягко упрекал его за его вредные взгляды, серьезно и без задора ставил на вид то, что мне казалось ошибками в его словах, и то, что мне казалось слабыми его сторонами. При этом я исходил именно из того и прямо указывал на то, что в близком будущем ему, Керенскому, придется быть во главе государства. Керенский не прерывал и молча слушал. Может быть, в то время он только *мечтал* о министерстве Керенского, а может быть, серьезно думал и серьезно готовился к нему... Но, увы, тяжкое бремя история возложила на слабые плечи.

Теперь, когда Керенский политически мертв, когда почти нет надежды на его воскрешение (ибо вес его утрачен во всех сферах), теперь нет ничего легче, как положить лишний камень на эту политическую могилу и успокоиться в сознании правильности данной исторической оценки. Меня, однако, не особенно соблазняют подобные лавры. Я был убежденным политическим противником Керенского со дня первого знакомства с ним; я яростно изо дня в день «травил» Керенского и его политику в дни его высшей власти на столбцах распространенной и, несомненно, влиятельной среди масс газеты;⁶ я достаточно доказал в дни его власти и славы, какое значение я придаю его шуйце, не дожидаясь пока этот знаменосец великой демократической революции лично распорядится (из государственных соображений) о закрытии этой «презренной» газеты. И я ни в какой мере до сей минуты не в пример тысячам его рыцарей, не замедлившим затем продать свои грошевые шпаги, не изменил моего мнения об этом деятеле.

Но тем с большим правом, тем с большим удовольствием, тем с большими надеждами на доверие я могу теперь, после гибели этой «*политической репутации*», отметить и подчеркнуть десницу этой *личности*. Это будет только справедливо и только правильно по существу.

И прежде всего – перед лицом ныне торжествующего и проклинающего Керенского большевизма, перед лицом, несомненно, состоявшегося союза Керенского с силами буржуазной реакции против демократии, перед лицом «дела Керенского-Корнилова», перед лицом того факта, что Керенский по мере сил действительно душал революцию и больше, чем кто-либо, довел ее до Бреста, – я утверждаю: Керенский был искренний демократ, борец за торжество революции – как он понимал ее. Ему было, заведомо для меня, не под силу осуществить его добрые намерения. Но на нет и суда нет. Это касается его недостаточных объективных ресурсов как *деятеля*, а не его субъективных свойств как *личности*. Я утверждаю: Керенский действительно был убежден, что он социалист и демократ. Он не подозревал, что по своим убеждениям, настроениям, тяготениям и вкусам он самый настоящий и самый законченный радикальный буржуа, а в своей политике он воплощает самую доподлинную систему предательства демократии и защиты узкоклассовых интересов капитала.

Дело, однако, вот в чем: в личности Керенского демократизм и борьба за революцию, не в пример многим другим политическим фигурам, были далеки от той беззаветности, которая граничит с отрешением деятеля от самого себя. Керенский не только никогда не был способен

⁶ Так в официальном правительственном сообщении подручный Керенского кадет Терещенко назвал «Новую жизнь», непочтительно отозвавшуюся о сэре Бьюкенене

на самозаклание, но был положительно честолюбив всегда, а в революции его основательное честолюбие уже перешло в такое же властолюбие.

Другая сторона дела, пожалуй, еще важнее. Он, Керенский, настолько верил в свои силы, в свое провиденциальное назначение, что не отделял собственной деятельности, собственных успехов, собственной карьеры от судеб современного демократического движения в России. Отсюда произошло то, что Керенский не только воображал себя социалистом, но и вообразил себя немножко Бонапартом.

Такое убеждение или такие настроения естественно возникли в нем на основе двух факторов, одним из них было его объективное положение наиболее яркого и популярного выразителя идеи демократии в эпоху четвертой, столыпинской Думы и центральной фигуры революции в период ликвидации царизма. Другим фактором была именно *слабость* его объективных ресурсов, неспособность к над лежащей оценке явлений и наивная переоценка собственных сил.

Его бурный, туркестанский темперамент способствовал уже прямо тому, что в революции его голова не замедлила просто закружиться от грандиозных событий и его места среди них. А его несомненная врожденная склонность к торжественности, декоративности, театральности довершила дело к эпохе его президентства в революционном правительстве. И если припомнить, что в результате своей сверхчеловеческой, самой нервотрепательной работы он был уже истрепан ко времени революции, то будет ясно: революционный министр Керенский не мог не превратиться в самого безудержного, заносчивого, запальчивого и раздраженного, склонного к самодурству, не способного воздержаться от самых рискованных авантюр крикуна с замашками самодержца без власти, с приемами оракула без знания и понимания.

«Хвастунишка-Керенский» – этот эпитет Ленина, конечно, ни в какой мере *не исчерпывает*, но он правильно *намечает* и, упрощая, схематизирует характерный облик Керенского: именно таким он должен представляться извне поверхностному равнодушному взору, не желающему углубляться ни в оценку личности, ни в выяснение ее роли в революции. Все это несомненно. Но все это совершенно не колеблет моего убеждения в том, что Керенский был искренний демократ. Ибо если он наивно не отделял своей личности от революции, то он сознательно никогда не ставил свою власть и свою личность выше революции и никогда интересы демократии сознательно не мог приносить в жертву себе и своему месту в истории.

Он искренне верил в правоту своей линии и искренне надеялся взятым курсом привести страну к торжеству демократии. Он жестоко ошибался. И его жестокие ошибки я лично по мере сил публично разоблачал тогда же. Но слабый политик, без школы, без мудрости государственного человека, Керенский был искренним в своих заблуждениях и *bona fide*⁷ зарывался в своей антидемократической политике, закапывая вместе с собой революцию в меру своего действительного влияния.

Свою действительную преданность революции Керенский, на мой взгляд, доказал достаточно еще в эпоху царизма. В своей деятельности он умел ставить на карту не только свое положение адвоката и депутата, действуя как профессиональный революционер, идя без колебания на такие шаги, которые могли легко и быстро кончиться Сибирью или Якуткой по лишении его всех прав адвокатства и депутатства. При яростной ненависти к нему всего департамента полиции, как к центру легального и полуполитического «левого» движения, ему случалось быть на волоске от этого (например, после дела Бейлиса) и избавляться от таких перспектив лишь в силу внешних обстоятельств. Но этого мало: Керенский принимал самое непосредственное участие в партийных эсеровских делах; при этом он так злоупотреблял своим депутатским положением и своей популярностью, что, живя под самым тщательным, неослабным и всесторонним наблюдением полиции, он считал правила конспирации обязательными только

⁷ чистосердечно (лат.)

для других и не стесняясь запутывал себя бесчисленными уликами для самых серьезных жандармских и судебных политических дел. Незадолго до революции при содействии одного эсеровского провокатора, бывшего в постоянных сношениях с Керенским, он попал в историю настолько грязную, что близкое окончание депутатских полномочий или всегда возможный внезапный роспуск Государственной думы почти обеспечивали ему если не виселицу (по военному времени), то каторгу. Избежать их можно было бы только своевременной эмиграцией. Керенский знал это и сознательно шел на это...

Было бы грубой ошибкой, если бы кто-либо стал утверждать, что для Керенского как типа общественного деятеля, а также и для его политики характерно его направление, система его политических воззрений. Я утверждаю, что у Керенского и *не было* никакого строго выработанного *направления*, никакой сколько-нибудь законченной системы воззрений.

У этого бурно-пламенного импрессиониста, лидера одной, открытой, партии (трудовиков) и деятельного члена другой, подпольной (эсеров) вместо политической системы было лишь умонастроение, колеблемое в значительных пределах политическим ветром и притягательно-отталкивающими силами других общественных групп. В конце концов он был равнодушен и к своему «трудовизму», и к своему «эсерству»; и он не особенно заботился о том, чтобы заострить, рафинировать свои взгляды в ту или в другую сторону, оставаясь только левым радикальным интеллигентом, легко совмещая подполье с широкой открытой ареной...

По своему умонастроению, по своему положению радикального интеллигента Керенский, естественно, примыкал к оборонческому лагерю во все время войны. При всем том его думские военные выступления были не только более яркие и интересны, но гораздо сильнее били по идее отечественного бургфридена, чем киселеобразный «циммервальдизм» думской социал-демократической фракции (удостоившейся приветствия Либкнехта и Р. Люксембург). Руководимая же Керенским «Трудовая фракция», считавшая за благо прятать под фигурой умолчания свое отношение не только к социализму, но и к *идее монархии*, фракция, не имевшая ни малейшего отношения к Интернационалу, первая заявила у нас о своем отказе в военных кредитах.

Свое оборонческое умонастроение Керенский никогда не мог возвысить до системы взглядов, несмотря на то что эту работу на его глазах произвела целая плеяда социалистических писателей и он мог прийти на готовое. Но вместе с тем он рвал и метал против «пораженчества», которым не гнушался крестить всякий интернационализм со дня его появления на русской почве. И он же в качестве защитника на суде над большевистской думской фракцией дал такую легальную защиту «пораженчества», до какой не сумели возвыситься представители ленинской группы...

Отношение к войне, к обороне и гражданскому миру, к методам политической борьбы во время войны было, как известно, центром всякой политической позиции в последние годы перед революцией. И для позиции Керенского вместе с подручной ему группой интеллигентной молодежи у меня не было иного слова, как «болото». Не система законченных разработанных взглядов, правильных или неправильных, социалистических или буржуазных, а вязкое и нудное болото.

Однако при всем том нельзя сказать, что мысль Керенского была вообще чужда теоретической работе, что она была ленива к ней, что Керенский не интересовался теориями и течениями, недооценивал их, сознательно пренебрегал ими. Напротив, на его столе я постоянно видел пачки писем со всех концов России, которые не распечатывались им неделями, пока на помощь не приходила его жена. Но на том же столе я всегда находил несколько новых журналов, где все сколько-нибудь актуальные статьи принципиального характера были всегда разрезаны, обыкновенно исправно прочитаны и нередко с жаром и с задором разнесены в полемическом разговоре.

Я хорошо знаю на себе, как автор, тот интерес, какой проявлял Керенский к работе мысли в своем и чужом лагере. Мои статьи и брошюры в своем водовороте он прочитывал немедленно, раньше, чем их успевали одолеть десятки других моих петербургских знакомых, для которых чтение подобной литературы могло бы считаться обязательным, и он не упускал случая, не дожидаясь встречи, хотя бы по телефону осыпать меня сарказмами по поводу содержания моих «пораженческих» писаний.

Керенский живо интересовался теоретической работой, он меньше всего ленился использовать ее, но все же ему решительно не удавалось построить систему взглядов. Все мало-мальски намечавшиеся основы таких построек немедленно поглощались его кипящей и бурлящей, неустанной, хотя бы и бесплодной практической работой. Все зачатки теоретической системы, хотя бы не самостоятельной и заимствованной, рушились под напором его собственного темперамента. И на посту министра-президента Керенскому пришлось остаться тем же, чем он был в роли агитатора, лидера парламентской «безответственной оппозиции», если угодно, в роли народного трибуна: беспочвенником, политическим импрессионистом и, увы, интеллигентным обывателем...

Но, повторяю, не это отсутствие сколько-нибудь прочного теоретического базиса, сколько-нибудь продуманной системы есть наиболее характерное в Керенском и наиболее определяющее в его политике и его исторической роли. Он был по природе агитатором, лидером оппозиции, народным трибуном. Но он не был по природе государственным человеком. Не имея под собой устойчивого теоретического фундамента, Керенский ее имел в верного практического инстинкта, сколько-нибудь пригодного для работы в общегосударственном масштабе. Не отдавая себе теоретически должного отчета в окружающих его общественных процессах, он и на практике не видел даже самых очевидных подводных камней, грозящих неизбежной катастрофой, определенно предсказываемой злонамеренными агитаторами, в которых он, как всякий слабый и беспомощный политик, был склонен видеть корень зла.

Не умея смотреть в корень, наблюдать и обобщать, он был заведомо не способен нащупать в процессе работы надлежащий фарватер, по которому только и можно было кое-как, хотя бы не без членовредительства, протащить государственный корабль среди невиданной бури мировой войны и революционной встряски, всколыхнувшей народные волны до самого дна. Он не только не понимал, не оценивал, не видел тех сил, которые на его глазах схватились в яростной свалке, которые исходом своей борьбы только и могли определить судьбу революции. Он с полной наивностью не разбирался и в самом конкретном положении «революционной власти», ни в какой мере не представляя себе ее действительной роли, ее места, ее возможностей среди борющихся организованных сил и среди разгулявшейся стихии. И он не отдавал себе никакого отчета в собственном своем положении, которое в течение долгих недель и месяцев было явным «ridicule».⁸

Если бы все это было не так, то для Керенского у меня не нашлось бы иных эпитетов, подводющих итог всей его роли в революции, кроме эпитетов: злостный авантюрист и изменник демократии. Но я настаиваю: Керенский был искренний слуга демократической революции. И *личность* этого злостно-обанкротившегося *деятеля* не должна отойти в историю с клеймом предателя тех принципов, какие он открыто провозглашал. Не его вина, если его слабые, совсем неподходящие плечи не вынесли насильно возложенной на них непомерной задачи. Ему было суждено стать «математической точкой» скрещения жестоких и непонятных ему сил революции. В этом такая беда его, какой он с избытком искупил свою сознательную вину, свои сознательные компромиссы, проступки и преступления перед принципами демократии и свободы.

⁸ смешным (лат.)

Отсутствие сколько-нибудь достаточных ресурсов государственного человека – это, конечно, наиболее характерное для Керенского как данной и законченной исторической личности. Это характерно для него *вообще с любой точки зрения* — и с правой, и с левой. Я хотел бы сказать два слова о том, чего именно недоставало в Керенском и каков он был по существу, по своему положительному содержанию в частности, в особенности, с *моей точки зрения*.

Керенский принадлежал к числу социалистов народнического толка. На языке марксистского социализма это означает, что Керенский был мелкобуржуазным демократом. И это его классовое положение, эта его классовая идеология должна была определять его устремления и его тяготения в политике.

Но это не все. Керенский был интеллигентом, не только не вышедшим из недр народного, пролетарского или мелкобуржуазного движения, не только не связанным с ним корнями, но и не имеющим к нему ни вкуса, ни практического интереса. Его демократизм был интеллигентским народолюбием, его вышеописанные «конспирации» были субъективной данью принципу и «меньшому брату». По своим стремлениям, вкусам, повседневным интересам, связям это не был участник социалистического массового движения. Это был столичный адвокат, всеми корнями связанный с петербургским радикальным и либеральным обществом. Это был необходимый элемент и заправила столичных интеллигентских кружков, варящихся в собственном соку под знаком социализма, обыкновенно «народнического», – таких кружков, для которых народ все еще продолжал оставаться абстрактной идеей, а не конкретным материалом для их работы и не основным субъектом демократического движения. Кружки эти тяготели больше к верхам, испытывая род недуга при соприкосновении с низами.

Правда, эти соприкосновения Керенского с низами были довольно часты, можно сказать, постоянны. Я зачастую видел в его домашней приемной и в кабинете многочисленных крестьянских ходяков, а также и рабочих, приходивших со своими нуждами, с информацией, за советами к популярнейшему «социалистическому» депутату. Но меньше всего эти сношения могли свидетельствовать о тяготении Керенского в эту сторону. Рабочие и крестьяне ходили к Керенскому, но не он к ним.

Не в пример деятельности, приемам, образу жизни социал-демократических депутатов обеих думских фракций, проводивших огромную часть своего времени в рабочей среде, постоянно посещавших заводы и те зачатки рабочих организаций, какие имелись при царизме, – не в пример им Керенский был совершенно чужд подобному препровождению времени. Как ни необходимо это было в некоторые моменты, как ни монопольно было в этом отношении депутатское положение Керенского, на заводе, в профессиональном союзе, в больничной кассе его было встретить нельзя. Зато, например, когда уезжал добровольцем на войну кадет Колюбакин, то проводы на вокзале, конечно, не могли обойтись без представителя демократии в лице Керенского, и это было в порядке вещей.

К низам, к массам и их движению Керенского привязывала теоретическая идея, «сознание долга». Он считал необходимым *от них исходить* в своей общественной работе. Но он рвался от них в иные сферы, к иным приемам работы, где он чувствовал себя как дома.

Именно эти свойства его так ярко, так законченно воплотились во всем его положении в революции, которое мне придется, по личным моим наблюдениям и воспоминаниям, описывать на дальнейших страницах.

Эти свойства Керенского, можно сказать, классически проявились в его отношениях к Временному правительству и Совету рабочих депутатов, в его шатаниях между дворцами Таврическим и Мариинским (а затем Зимним). И эти же свойства сполна определили результаты этих шатаний, а вместе с тем общий характер, общие итоги политики Керенского, можно сказать, его общую роль в революции. Он не мог не изобразить из себя Микулы Селяниновича, не мог не приложиться к массам, не зачерпнуть сил и прав у подлинной демократии. Но он не мог тут же, немедленно, не взвиться в иные сферы, как вырвавшийся с привязи аэростат;

не мог не оторваться от этой, пытавшейся удержать его «толпы» безвозвратно и не исчезнуть для нее навсегда.

Здесь есть самое характерное для Керенского. Это лежит в основе всей его работы в революции. Для характеристики Керенского эти черты следовало бы развить и описать подробнее. Но это значило бы предвосхищать дальнейшее изложение, из которого пришлось бы черпать бесчисленные иллюстрации к настоящим строкам. Поэтому мы оставим нашу специальную экскурсию в пределы характера нашего первого «министра от демократии». К дальнейшим моим запискам все сказанное о нем послужит достаточным комментарием. Для характеристики же Керенского дадут без числа комментариев дальнейшие записки.

Революции день первый 27 февраля

«Охрана» столицы утром. – Роспуск Государственной думы. – Ее «революционный» Временный комитет. – «Линия поведения» буржуазии утром 27-го. – Восстание Волынского и Литовского полков. – 25 тысяч гарнизона на стороне революции. – Красные части в Государственной думе. – Революция – совершившийся факт. – Временный Исполнительный Комитет Советов рабочих депутатов. – Его деятельность. – Восставшие солдаты. – Мои злключения. – Путешествие в «центр». – Стратегия революции. – Продовольствие солдат. – Моя рекогносцировка в лагере буржуазии. – Разговоры. – Милюков. – Трагедия либерализма. – В «левом крыле». – Перед Советом. – Эсеры в Совете. – Первое заседание. – Порядок дня. – Президиум. – Выступления солдат. – Литературная комиссия. – Во дворце. – В городе. – «Высокая политика». – Думский комитет берет государственную власть. – Перелом ситуаций. – Наше воззвание. – Выборы первого Исполнительного Комитета. – В Военной комиссии. – Первое заседание Исполнительного Комитета Совета рабочих депутатов. – Ночлег.

Наступило приснопамятное 27 февраля. Не позвонив никому из дому по конспиративной привычке, я в десятом часу поспешил в свое туркестанское управление, чтобы оттуда собрать сведения по телефону и от окружающих.

Уже на моем недалеком пути – с Карповки до конца Каменноостровского проспекта – можно было заметить, что колебательное настроение в воинских частях близко к окончательному разрешению, что развал дисциплины достигает своих конечных пределов.

Офицеров при патрулях и отрядах совсем не было видно. Патрули же и отряды демонстрировали свое полное разложение в качестве боевых сил царизма. Это были беспорядочные группы серых шинелей, совершенно сливавшиеся и открыто братавшиеся с вольной публикой и рабочей толпой. В большом количестве были видны солдаты, отбившиеся от частей и бродившие в одиночку или попарно с оружием и без оружия. Может быть, многие из них были назначены на посты. Прохожие передавали, что эти солдаты охотно отдают свои винтовки и оружие уже собрано в большом количестве в рабочих центрах.

Служащие «туркестанского» управления, из которых многие шли издалека, в разных вариантах описывали приблизительно ту же картину, при этом одни свободно проникли из центра через Троицкий мост, другим пришлось колесить через Дворцовый. Это также свидетельствовало о неблагополучии и развале в организации «охраны» Петербурга.

Я прилип к телефону и совершал круговую по десятку номеров. Решающий час, о котором мечтали, для которого работали поколения, явно наступил. Захватывающие события надвинулись вплотную.

Мое нетерпение переходило в бешенство, натываясь на равнодушное «занято» вялой телефонистки. Однако не помню, кто именно, но все же довольно скоро мне сообщили основную политическую новость этих утренних часов незабвенного дня. Указ о роспуске Государственной думы объявлен, и Дума ответила на него отказом разойтись, избрав Временный комитет Государственной думы из представителей всех фракций (кроме правой).

Необходимо тут же отметить тот факт, хорошо известный и памятный всем передовым политическим слоям России, но, быть может, недостаточно отчетливо запечатлевшийся в головах, далеких от непосредственного наблюдения петербургских событий. Временному комитету Государственной думы, избранному утром 27 февраля, была совершенно чужда мысль стать на место государственной власти и выдать себя за таковую как в глазах населения, так и (особенно) в глазах обрывков царского самодержавия. Этот думский комитет во главе с Родзянкой образовался со специальной целью, о которой он и объявил официально: он образовался «для водворения порядка в столице и для сношений с общественными организациями и учреждениями»...

Несомненно, этот акт Временного комитета Государственной думы был *революционным актом* «Прогрессивного блока». Он шел вразрез и с законопослушными традициями и с элементарными правами и обязанностями Государственной думы. Но означал ли он присоединение Государственной думы и революции? Знаменовал ли он собой хоть тень солидарности «Прогрессивного блока» с народом, атакующим твердыню царизма? Означал ли этот акт какую-либо степень солидарности демократии и буржуазии в стремлении низвергнуть самодержавие и произвести переворот?

Самый категорический ответ на это должен быть в голове читателя, желающего правильно понять события этих дней; **нет**, революционный акт буржуазии в лице «Прогрессивного блока» и думского большинства был направлен к спасению династии и плутократической диктатуры от демократической революции при помощи ничтожных коррективов к старому порядку, не имеющих никакого принципиального значения. В эти часы надежда на спасение романовского режима отнюдь не исчезла: выступление петербургского гарнизона еще не стало фактом.

Общая линия поведения наших буржуазных групп до этого кульминационного пункта могла быть только линией борьбы с революцией, только защитой царизма от «анархии» и «военного» разложения государства. Но в отличие от убогих царских чиновников руководители буржуазии хорошо понимали, что события достигли таких пределов, когда без революционного акта непослушания и своеволия, без благодетельного насилия неразумное, дряхлое дитя царизма спасти уже нельзя.

Революционный акт был совершен. Во Временный комитет кроме Родзянки из виднейших членов его вошли, как известно, Милюков, Коновалов, Ефремов, В. Н. Львов, Шульгин, Аджемов и др. Думская левая была представлена Керенским и Чхеидзе.

Временный комитет Государственной думы, объявив официально о своем скромном техническом назначении, немедленно занялся «высокой политикой» в только что указанном направлении. Родзянко, сделав почтительнейшее представление в царскую ставку, снесся по прямым проводам и с главнейшими военачальниками на разных фронтах, прося поддержки Государственной думы перед царем. Только уступки национал-либеральной плутократии могут спасти династию – таков был смысл предлагаемого совместного давления на злосчастного «самодержца» со стороны заправил генералитета и «прогрессивного» буржуазно-помещичьего блока.

Тут же по телефону я узнал о полученных уже ответах генералов – ответах, дышащих прямоотой, ясностью и той преданностью революции. Которую эти господа наперебой стали демонстрировать несколькими днями позже. «Я исполню свой долг перед Царем и родиной» – вещала одна из этих пифий в образе Брусилова в ответ на призыв Родзянко...

Но события, к счастью, не ждали закулисных комбинаций сильных старого мира. Народная революция шла своим ходом на всех парах, ежечасно меняя всю политическую конъюнктуру, опрокидывая «комбинации» либералов, генералов и плутократов и волоча за собою на поводу Государственную думу как политический центр буржуазии...

Делясь получаемыми сведениями с инженерами и другими сослуживцами, бросившими мысль о работе, сбившимися в комнату начальника и жадно хватающими головокругительные новости, я продолжал мои телефонные поиски информации. И вскоре перед нами раскрылась из разных источников всем известная картина выступления Волынского и Литовского полков. Наиболее обстоятельные сведения, помню, я получил из фракции «Трудовой группы», где было установлено дежурство.

Дело, начатое павловцами вслед за волынцами и литовцами, продолжали измайловцы. К часу дня на стороне народа насчитывали уже 25 тысяч человек петербургского гарнизона. Восставшие полки направились к Государственной думе, наткнувшись на слабое сопротивление какой-то части на Литейном проспекте. Часть же революционных отрядов войск вместе с народом пошла к «Крестам» и Предварилке освобождать политических заключенных.

Я не стану и пытаться описывать общую картину событий и восстания гарнизона 27 февраля. Я не был очевидцем ни одной из центральных, решающих сцен этого восстания, подробно описанных очевидцами.

Гораздо для меня печальнее, что я не могу ничего ввести в освещение *внутренней* стороны этих первых переходов войск, точнее, солдат на сторону революции. Какую роль играли здесь социалистические организации? Какова была роль партийных и вообще сознательных демократических элементов в казармах и отрядах в течение последних решающих минут, в частности? Какова была роль, позиция и действия офицерства? Каковы были в конечном счете решающие импульсы для темной солдатской, массы? Каковы, наконец, были лозунги в казармах?

Всего этого я сейчас не могу осветить ни вообще, ни в частности применительно к отдельным пунктам. Но обо всем этом история резолюции без труда почерпнет сведения из многочисленных других рассказов. Несомненно лишь одно: сознательные и партийные элементы в большом количестве имелись во всех частях петербургского гарнизона. И *подхватить* движение, стать его центром, одухотворить его теми или иными общеполитическими лозунгами они не только были в состоянии, но неизбежно должны были это сделать.

Волынский и Литовский полки направились к Государственной думе. Цели и смысл этого движения могли быть совершенно различны. Это могло быть чисто стихийное тяготение. Это могло быть сознательное стремление руководителей сделать буржуазно-«патриотическую» Думу политическим центром движения и дальнейших событий. Это могла быть просто манифестация солидарности с только что распущенным царем «революционным» парламентом. Ничего этого я не знаю, а что знал, того не помню и без специального изучения осветить не берусь. Изучение же не есть метод этих случайных и личных записок.

От Н. Д. Соколова я не раз впоследствии слышал, что это он повел первые восставшие полки именно к Государственной думе. Возможно, что это было именно так. Но это совершенно не освещает того важного факта, что Государственная дума, остававшаяся доселе явно за бортом народного движения, получила не только значение его территориального, но и видимость его *политического* центра.

Общественные верхи в лице Государственной думы не шли к революции. Революция так или иначе пошла к ним. К этому факту принципиальной важности мне придется вернуться, ибо он был хорошо использован лицом, отныне ставшим во главе движения всей буржуазной России, человеком, определявшим с этой поры всю ее позицию и всю ее политику, – П. Н. Милюковым.

Представители думской левой – Керенский, Чхеидзе, Скобелев – встретили приветствием и речами первых солдат революции. Те ответили им военными почестями. Революция не только развернулась во всю ширь. Она уже определила свой характер: она включила в себя основную опору старого строя и стала всенародной, общедемократической.

Исход ее далеко не был решен. Междоусобные роковые схватки могли разразиться ежеминутно и были более чем вероятны при будущей окончательной ликвидации царизма. Но ее общедемократический характер все же был предрешен. И тысячу раз невежественны благодушные простецы из «демократии», тысячу раз презренны злостные лицемеры из буржуазии, которые не гнушались прилагать к великому делу всей демократии имя военного бунта...

Что делало в эти часы царское начальство, какие «мероприятия» оно замышляло и осуществляло для борьбы с революцией, я также не знаю и не помню. Да и кому это интересно? Сомнений ни у кого в Петербурге быть уже не могло: царские власти никак не могли повлиять на ход событий. Вероятно, в эти часы и они поняли, что борьба с революцией может быть теперь только одна: безотлагательная сделка с буржуазией и «общественными кругами».

Надо думать, *сюда*, на политиканские попытки и было направлено внимание тех руководящих слуг царизма, которые не были заняты полицейскими обязанностями или уже махнули на них рукой. Несомненно, с другой стороны, и то, что и думско-буржуазные верховоды из «Прогрессивного блока» удесятерили свои старания по части «представлений», «давлений» и соглашений с остатками бывшего величия царизма.

Эти группы продолжали упорствовать в своем отказе не только примкнуть к революциям, не только попытаться стать во главе ее, но и подписаться под ней как совершившимся фактом. Это сомнению не подлежит. Но какие именно «комбинации» пытались осуществить в эти часы руководящие группы буржуазии, «Прогрессивный блок» и Временный комитет Государственной думы, этого я также не знаю и также не интересовался когда-либо разузнать. И *это* уже было *вне* хода событий. И *это* не могло ровно ничего изменить в них. И *эти* «комбинации» были также лишь результатом растерянности и слепоты... Было поздно.

На сцену выступал иной фактор событий, которого не было до сих пор: полномочная организация всей демократии революционного Петербурга – организация, приспособленная для боевых действий, освященная славными традициями и готовая взять дело революции, *свое дело в свои руки*.

Это был Совет рабочих депутатов.

Восставшие части войск вместе с толпами народа освободили из петербургских тюрем множество социалистических работников. В частности, они освободили и рабочую группу при Центральном военно-промышленном комитете во главе с К. А. Гвоздевым. Руководители этой группы непосредственно из тюрьмы направились вместе с войсками и народом в Таврический дворец, куда уже стекались в большом числе петербургские общественные деятели различных толков, рангов, калибров и специальностей.

Часам к двум там оказались довольно видные представители профессионального и кооперативного движения, в частности бывшие участники вышеописанных совещаний. И совместно с ними при участии левых депутатов лидеры рабочей группы образовали Временный Исполнительный Комитет Совета рабочих депутатов. Его назначение было, в сущности, только одно: он должен был в качестве организационного комитета созвать Совет рабочих депутатов Петербурга. Свою задачу он прекрасно выполнил, моментально выпустив и распространив по столице соответствующее обращение к рабочим, где первое собрание Совета назначалось в Таврическом дворце в 7 часов того же дня.

Выборы в Совет, как я упомянул, происходили и раньше, но нелегально, случайно, без конкретной цели, больше на всякий случай. Теперь в несколько часов предстояло мобилизовать весь рабочий Петербург и создать его полномочное представительство, долженствующее взять в свои руки судьбу революции.

Однако Временный Исполнительный Комитет Совета рабочих депутатов не ограничился функциями созыва Совета. Он схватил и другую насущную задачу минуты и принял экстренные меры к организации продовольствия для восставших, отбившихся от казарм, распыленных и бездомных воинских частей. Он избрал немедленно Временную продовольственную комис-

сию (Громана, Франкорусского и др.), которая, во-первых, создала в Таврическом дворце солдатскую продовольственную базу, а во-вторых, обратилась к населению с воззванием о помощи в деле прокормления солдат.

Временный Исполнительный Комитет исходил, так сказать, из *технических* соображений и *технических* потребностей момента. Но по существу он разрешал своими продовольственными мероприятиями и важнейшую *политическую* задачу. Ибо вооруженные, голодные, бесприютные, терроризированные и несознательные солдатские массы представляли сейчас для дела революции не меньшую опасность, чем организованные силы царизма. В существовании последних к тому же могли быть сомнения. Первые же были налицо.

Но Временный Исполнительный Комитет, естественно, принял посильные меры и к защите революции от разгрома ее царскими войсками. Он немедленно попытался создать военный штаб революции в Таврическом дворце. Но что это был за штаб, что за силы, что за организация!!! Дело ограничилось вызовом по телефону нескольких офицеров, известных за демократов, в том числе небезызвестного будущего левого эсера Мстиславского, пришедшего неохотно, после колебаний, в военном мундире под штатской шубой. Эти несколько офицеров, чинно усевшись за стол, вырабатывали диспозиции. Но разница с толстовскими генералами была в том, что эти диспозиции должны были разбиться о заведомое отсутствие у них всякого исполнительного аппарата, каких бы то ни было реальных сил, независимо от толстовского фатума и тысячи случайностей... Затем Керенский соединил эту группу офицеров Временного Исполнительного Комитета с такой же группой, образовавшейся при думском Военном комитете, и таким образом было положено начало некой Военной комиссии – учреждению, с которым мы постоянно будем встречаться на следующих страницах...

В состав Временного Исполнительного Комитета входили: К. А. Гвоздев, Б. О. Богданов, Н. Ю. Капелинский, Гриневич, Чхеидзе, Скобелев, Франкорусский и, может быть, кто-нибудь еще. Понятно, что огромную часть времени за эти часы ему пришлось потратить на прием всякого рода делегатов, на бестолковую толчею среди неразберихи и на совершенно ненужные дела. О «высокой политике», по словам его членов, он совершенно не думал, стараясь овладеть лишь техникой... Но как бы то ни было, этому Временному Исполнительному Комитету, бывшему в те часы единственным организованным центром демократии, революция обязана немалым.

Во всей этой работе мне не пришлось принять никакого участия. До седьмого часу вечера я даже не знал, что происходит среди пролетариата и в партийных организациях, служивших идейными и организационными центрами, без которых мобилизация не могла бы быть произведена, как бы ни были они слабы и несовершенны.

Потом я узнал, что Керенский в это время звонил (или от его имени звонили) ко мне на Карповку и в редакцию «Летописи», требуя моего прихода в Таврический дворец; но ни там, ни здесь меня не застали. Мое же времяпрепровождение в эти часы было в высокой степени нелепо и совершенно удручающе.

Бросив свое управление в первом часу, я пошел по улицам Петербургской стороны, наблюдая сцены совершавшейся народной революции.

Проходили под красными знаменами и без них неизвестно куда воинские отряды, перемешиваясь и братаясь с толпой, останавливаясь, принимая участие в беседах, разбиваясь на митингующие группы. Лица горели возбуждением; убеждения бесчисленных уличных агитаторов быть с народом, не идти против него в защиту царского самовластья воспринимались как нечто само собой разумеющееся, уже переваренное. Но возбуждение лиц солдатской массы отражало по преимуществу недоумение и беспокойство: что же мы делаем и что из этого может выйти?

Надо представить себе всю глубину переворота в объективном и субъективном положении рядовых солдат, чтобы оценить всю головокружительность, всю полнейшую фантастич-

ность для него создавшейся обстановки, граничащей между явью и сновидением. Не мудрено, а неизбежно было то, что на многих лицах недоумение и беспокойство переходили в опьянение. Это были признаки, если еще не тревожные для каждого сознательного участника движения, то, во всяком случае, подлежащие немедленному учету. В противном случае они грозили разнузданном и безудержным разгулом вооруженной стихии...

Возбуждение и беспокойство солдат, происходившие из-за неопределенности положения, базировались, во-первых, на том, что командного состава, включая низшее офицерство, как правило, с ними не было, а во-вторых, в эти часы на улице с народом было лишь меньшинство гарнизона. Остальная часть, по меньшей мере, сохранила нейтралитет и выжидательную позицию. А иные части еще определенно повиновались начальству.

Слухи о столкновении на Литейном между царскими и революционными войсками были у всех на языке и, естественно, преувеличивались. Сколько осталось верных, готовых к бою войск, никто не знал. Во всяком случае, восставшие солдаты должны были чувствовать себя перед боем...

Кроме того, передавали, что некоторые части во всяком случае еще несут сторожевую службу, что некоторые районы по-прежнему оцеплены, что Трубочный завод, расположенный неподалеку, все еще осажден и как будто даже только что обстреливался и т. д.

Мне было ясно: надо немедленно пробираться в центральном направлении, к Таврическому дворцу. Но было совершенно не ясно, что я там найду, к чему пристану, что буду делать? Томление духа от жалкого положения зрителя великих событий достигло крайних пределов. Делать что угодно, но активно, в качестве какого угодно «винтика» событий...

Я решил, если никого и ничего не отыщу, пуститься на самочинные действия: попробовать сагитировать прямо на улице отряд солдат, занять при *его* помощи какую-нибудь типографию, где совместно с рабочими составить и выпустить род бюллетеня с разъяснением событий. Никакого печатного слова не было. Нужда в нем, жажда его была колоссальна, была равна встряске и, надо думать, сумбуру в головах обывателя. Использовать себя каким угодно способом как литературную силу в ближайшие часы, если можно, в минуты стало Целью моих вождений, моего устремления в центральные части города.

Я зашел мимоходом к Горькому, чтобы пригласить с собой его самого и кого найду у него из товарищей, разделяющих мое никчемное положение. Присяжные охранители личного благополучия Горького, которым этот землевед из неземного мира действительно обязан им, И. П. Ладыжников и другие не были склонны отпустить Горького по взбаламученному Петербургу в рискованную экскурсию неопределенного назначения.

Говорили, что пробраться в район Таврического дворца невозможно, что доступ через некоторые пункты открыт будто бы только в автомобилях казенного образца, но не пешком.

Стали вызванивать автомобиль, который обещали из близрасположенной автомобильной роты. Его надо было поймать при возвращении откуда-то. И. П. Ладыжников скоро отправился ловить его, пока мы пребывали в удручающе-томительном ожидании, беспорядочно толкая о событиях, строя нелепые планы Говорили о стычке на Литейном. Был четвертый или пятый час.

Я снова и снова обращался мыслью к тому, что делает и мыслит теперь руководящая буржуазия перед лицом событий, грандиозность которых превзошла чьи бы то ни было ожидания.

Революция и ликвидация царизма совершаются и не подлежат сомнению. Ее исход не был предрешен. Все зависело от того, насколько активны будут другие промышленные центры, что скажет и сделает остальная Россия и особенно фронт Но не держать курса на революцию (даже ее врагам), не предусматривать коренного революционного переворота, не строить свою тактику применительно к таким перспективам, казалось, теперь уже невозможно.

Каковы же *теперь* позиции, намерения и планы руководящих буржуазнодумских сфер? Отрекаются ли они от революции, предоставляя демократию своей судьбе в расчете погубить

движение в голоде, анархии и междоусобной свалке? Или они склонны идти навстречу движению в надежде использовать его, стать во главе его и подчинить его своим конечным целям?..

Я наблюдал панораму города, раскрывшуюся из окна квартиры Горького. По городу начинали шнырять автомобили, наполненные вооруженными людьми. В одних были солдаты вместе с рабочими; они были украшены красными флагами и восторженно приветствуемы толпой. В других были одни солдаты с винтовками, направленными на тротуары и несущими угрозу неизвестно кому. Куда они мчались, зачем, по чьему распоряжению, по чьей инициативе, на чьей стороне были они – все это было неведомо, и толпа была склонна держаться от них подальше.

Говорили, что с Петропавловской крепости, также видной из окна, некоторые из этих автомобилей были обстреляны у Троицкого моста...

Далеко за рекой, налево, по городу стлались клубы дыма и было видно пламя огромного пожара. Это горел ни в чем не повинный Окружной суд, разгромленный и подожженный возбужденной толпой, по соседству и за компанию с Предварилкой. Там горели архивы и бесчисленные документы гражданского судопроизводства и нотариальных актов. Наблюдая все это, я все вспоминал сцены Московского восстания.

И. П. Ладыжников возвратился, конечно, без автомобиля, на который было убито лишних часа полтора. Я предлагал остановить первый попавшийся, но это было отвергнуто, как предприятие рискованное. Было решено идти пешком.

Мы вышли уже часу в шестом при заходе солнца: я, Тихонов, Горький и еще двое или трое, не помню кто. Не доходя до Троицкого моста, мы не преминули растерять друг друга в густой толпе. Горький отстал, а вернувшись за ним, мы увидели, что его остановил знакомый член большевистского Центрального Комитета, вероятно, виднейший в то время представитель партии в Петербурге, будущий большевистский министр Шляпников, с которым я до того встречался мимоходом несколько раз. В былые времена он, не будучи вообще писателем, немного сотрудничал в «Современнике» из-за границы.

Партийный патриот и, можно сказать, фанатик, готовый оценивать всю революцию с точки зрения преуспевания большевистской партии, опытный конспиратор, отличный техник-организатор и хороший практик профессионального движения, он совсем не был политик, способный ухватить и обобщить сущность создающейся конъюнктуры. Если тут была политическая мысль, то это был шаблон древних партийных резолюций общего характера, но ни самостоятельной мысли, ни способности, ни желания разобраться в конкретной сущности момента не было у этого ответственного руководителя влиятельнейшей рабочей организации.

Нам пришлось зачем-то вернуться в квартиру Горького; у дверей мы заметили филера, о существовании какой-то породы все уже успели забыть: старый знакомый уже казался явлением потустороннего мира. Мы снова отправились, теперь втроем. Горький остался дома. Я добросовестно старался использовать всю дорогу на разъяснение Шляпникову создавшейся конъюнктуры, как я понимал ее, с целью добиться какой-либо координации действий в том направлении, как я писал выше. Но результат был один: я убедился в только что указанных свойствах наличного «центрального» большевика. Однако вместе с тем я убедился, что в самой влиятельной рабочей организации Петербурга, и именно в левой организации, от которой как раз и могла исходить опасность разнуздывания стихии и бесшабашно радикального решения вопроса о власти, – что в этой организации не было *никакого* решения этого вопроса, что он до сих пор сколько-нибудь серьезно не ставился в ее руководящих центрах и что никаких готовых лозунгов, никаких попыток планомерной борьбы за какой-либо готовый план с ее стороны ожидать нельзя. Это во всяком случае я расценил как благоприятный фактор.

При таких условиях решение политической проблемы в значительной степени находилось в руках более умеренных элементов демократии, поскольку их влиянию оставляла место стихийная борьба сил и случайная комбинация обстоятельств. Ниже мне еще придется набрасывать картинки, иллюстрирующие, насколько примитивны и неосновательны были тогдашние

заправили петербургских большевиков, насколько не способны они были взять в руки свои собственные основные задачи, насколько не умели они из-за деревьев своей партийной техники разглядеть лес революционной политики и насколько они поистине должны были приводить в отчаяние своих собственных партийных лидеров, знающих, где раки зимуют, но отделенных от Петербурга тысячами верст на восток и на запад. Более умеренные элементы в данной обстановке мне представлялись более надежными.

Уже темнело, когда мы трое – Шляпников, Тихонов и я – быстро, чуть не бегом, шли с Кронверкского проспекта к Таврическому дворцу. Троицкий мост был свободен, но довольно пустынен. Толпа, густо усеявшая площадь и сквер перед мостом, побаивалась того оживления, той деятельности, которую проявляла Петропавловская крепость и видневшиеся на ее стене около пушек солдаты. Однако никаких нападений оттуда, насколько я знаю, не последовало...

Нам встречались автомобили, легковые и грузовики, в которых сидели и стояли солдаты, рабочие, студенты, барышни с санитарными повязками и без них. Бог весть откуда взялось все это, куда мчались и с какими целями! Но все пассажиры этих автомобилей были возбуждены до крайности, кричали, размахивали руками и едва ли отдавали себе отчет в том, что они делают. Винтовки были наперевес, и паническая пальба, конечно, открылась бы при первом малейшем поводе.

Признаки «опьянения», грозные при полной распыленности революции и при возможности погромной провокации полицейско-черносотенных банд, были, несомненно, налицо. Один автомобиль почему-то остановился на набережной, неподалеку от английского посольства. Мы подошли к нему, попробовали заговорить, расспросить и, отрекомендовавшись, просили захватить нас с собой. Кроме возбужденного и нечленораздельного гвалта, из которого мы ровно ничего не поняли, мы ровно ничего не получили в ответ и, махнув рукой, побежали дальше.

У Фонтанки мы свернули к Шпалерной и Сергиевской. Слышались довольно часто ружейные выстрелы, иногда совсем рядом. Кто, куда и зачем стрелял, никто не знал. Но настроение встречавшихся рабочих, обывательских, солдатских групп, вооруженных и безоружных, стоявших и двигавшихся в разных направлениях, от этого повышалось чрезвычайно.

Оружие в руках рабочих было видно в огромном количестве. Солдаты-одиночки, с винтовками или отдав или продав винтовки, разбредались во все стороны в поисках крова, пищи и безопасности. Как в Московском восстании, встречные заговаривали друг с другом, спрашивая, что делается там-то и можно ли пройти туда-то.

Уже в сумерках мы вышли на Литейный близ того места, где за несколько часов была стычка царских и революционных войск. Налево горел Окружной суд. У Сергиевской стояли пушки, обращенные дулами в неопределенные стороны. За ними стояли, на мой взгляд, в беспорядке снарядные ящики. Тут же виднелось какое-то подобие баррикады. Но было кристально ясно для каждого прохожего: ни пушки, ни баррикады никого и ничто не защитят ни от малейшего нападения.

Господь ведает, когда и зачем они сюда попали, но около них почти не было ни прислуги, ни защитников. Группы солдат, правда, находились около. Иные чем-то распоряжались, командовали, кричали на прохожих. Но никто их не слушал...

Видя эту картину революции, можно было бы прийти в отчаяние. Но нельзя было забывать другой стороны дела: орудия, оказавшиеся в распоряжении революционного народа, были, правда, в его руках беспомощны и беззащитны от всякой организованной силы, *но этой силы не было у царизма.*

Какой-то солдат, изображавший из себя, очевидно, начальника редута, что-то кричал нам и куда-то показывал пальцем. Но мы не слышали и, спокойно перешагнув через баррикаду, помчались по Сергиевской к Таврическому дворцу... Выстрелы продолжались.

На Шпалерной, там, где начинаются постройки Таврического дворца, оживление было значительно больше. Смешанная толпа, разделяясь на группы, толкалась на мостовой, тротуарах, далеко, однако, не запружая их. Митингов и ораторов заметно не было. Ближе к входу во дворец стоял ряд автомобилей разных типов. В них усаживались вооруженные люди, грузились какие-то припасы. На иных было по пулемету. Обращало на себя внимание присутствие чуть не в каждом из них женщин, которые в таком количестве казались излишними.

Очевидно, кем-то, куда-то снаряжались экспедиции. Был крик и беспорядок. Охотников приказывать было явно слишком много, и был явный недостаток в охотниках повиноваться.

Та же картина наблюдалась и за заповедными воротами Государственной думы, на всей площади сквера, до самого входа в Таврический дворец. Попытки вступить в разговор с людьми, сидящими в автомобилях и участниками экспедиций, ровно ни к чему не привели.

Мы направились внутрь дворца, через главный вход, куда ломилась густая толпа и самая разнообразная публика. У дверей стоял и распоряжался цербер-доброволец, в котором я узнал одного левого журналиста. Не знаю, какими признаками руководствовался он, пропуская и преграждая путь во дворец. Но мне, несколько отставшему от моих спутников, он разрешил протиснуться внутрь дворца сквозь плотную заставу солдат как редактору «Летописи» и представителю социалистической печати.

В недра нашего дореволюционного парламента (если не считать пребывания на хорах, в качестве публики, которую пускали из особого закоулка) мне пришлось проникнуть впервые. Отныне это место игры в политику нашей буржуазии, место единственной свободной трибуны для скованной демократии превращалось в храм народной победы и в лабораторию русской революции.

В огромном вестибюле и в прилегающей Екатерининской зале, довольно слабо освещенных, было болеелюдно, чем, надо думать, бывало обыкновенно, но все же почти пустынно сравнительно с тем, что было здесь в последующие дни. Необъятная территория дворца легко и незаметно поглощала многие сотни сновавших с деловым видом и явно скучавших от бездействия людей. Это были «свои» – депутаты, имевшие вид хозяек дома, несколько шокированных бесчинствами незваных гостей. Оставив верхнюю одежду на привычных местах, у швейцаров, они выделялись блестящими манишками, мрачными рясами и степенными армяками. Но они были в меньшинстве. Дворец явно заполняло постороннее население – в шубах, рабочих картузах и военных шинелях. Среди этой категории на каждом шагу встречались лица, хорошо знакомые по петербургским интеллигентским политическим кружкам. Сюда уже стягивались все политические и общественные петербуржцы.

Я бросился с расспросами на первого попавшегося депутата-трудовика, живого и энергичного человека, варившегося сегодня целый день в самых недрах событий. Он, однако, мало удовлетворил меня. Самая крупная сообщенная им новость состояла в том, что в министерском павильоне под арестом сидит Щегловитов. А вместе с тем ведутся переговоры с премьер-министром, к которому поехал Родзянко и еще кто-то из умеренных лидеров. Кем именно арестован Щегловитов (явно вопреки большинству Комитета Государственной думы) и о чем конкретно ведутся переговоры, депутату в точности неизвестно. Сам он уходил в заседание своей фракции на Суворовский проспект, но не умел объяснить цели заседания, да и не надеялся на него, так как многие непременные члены мелькали тут же и не желали идти туда. И в частности, Керенский заведомо не мог туда явиться... Разговор позволял умозаключить, что «высокая политика», в общем, в прежнем положении.

Но и действительно, обстоятельства момента были таковы, что все внимание приходилось устремить на *технику* независимо от *политики*. Какая ни создавалась революционная власть, каковы бы ни были планы буржуазии, *необходимо было защищать начатое восстание*, защищать восставший народ и армию от сил царизма, еще формально не сдавшихся и фактически мобилизуемых. Защищать все это можно было, лишь *наступая*, доламывая решительно,

без пощады и колебания остатки царской крепости. Если «высокую политику» в интересах революции надо было делать в *связи с думским комитетом*, совместно с ним, при помощи его, то *технику*, стратегию революции должна была делать *демократия*, не дожидаясь думского комитета, независимо от него, против него.

Между тем что было сделано? И что надо было сделать? Заняты ли вокзалы на случай движения войск с фронта и из провинции против Петербурга? Заняты ли и охраняются ли казначейство, государственный банк, телеграф? Какие меры приняты к аресту царского правительства и где оно? Что делается для перехода на сторону революции остальной, нейтральной и, быть может, даже «верной» части гарнизона? Приняты ли меры к уничтожению полицейских центров царизма – Департамента полиции и охранки? Сохранены ли от погрома их архивы? Как обстоит дело с охраной города и продовольственных складов? Какие меры приняты для борьбы с погромами, с черносотенной провокацией, с полицейскими нападениями из-за угла? Защищен ли хоть какой-нибудь реальной силой центр революции – Таврический дворец, где через два часа должно открыться заседание Совета рабочих депутатов? И созданы ли какие-нибудь органы, способные так или иначе обслуживать все эти задачи?..

Тогда я не знал и не умел бы ответить на эти вопросы. Но теперь я хорошо знаю: не было сделано ничего и не было никаких сил, чтобы сделать что-либо... Быть может, это неизбежно и обязательно во всех революциях? Ничуть не бывало. Оставив в стороне исторические параллели, я опишу со временем по личным воспоминаниям по нотам разыгранный октябрьский переворот. Картина была иная!..

В вестибюле, недалеко от входа, с левой стороны от него стоял длинный стол, около которого толпилось, наклонившись над ним, много людей, особенно военных. В центре их я увидел Керенского, отдававшего какие-то распоряжения. Здесь, очевидно, происходила работа какой-то стратегической революционной организации или, по крайней мере, ее эмбриона. Керенский здесь действовал в качестве члена Военной комиссии, о которой я упоминал выше и которая утвердилась территориально в первом крыле дворца, в комнате 41. Там в эти дни кроме Керенского, Мстиславского я помню бесценно дежурившего Филипповского, с которым не раз нам придется встретиться дальше, и еще двоих-троих с примелькавшимися физиономиями, но неизвестными до сих пор фамилиями. В этой Военной комиссии одной из деятельнейших фигур был также Пальчинский, игравший впоследствии немалую и скверную роль в правлении Керенского. Во главе же этого учреждения стоял сам Керенский, причем мне совершенно неясно, каким именно способом совмещались в нем функции руководителя боевой организации, призванной добывать царизм военными средствами, и звание члена Временного комитета Государственной думы, продолжающего переговоры об «уступках» с царским правительством и доселе не вступающего на революционный путь...

Задачи Военной комиссии в данный момент были именно *стратегические* и боевые, задачи технического завершения революции в отличие от последующих модификаций этого учреждения, которое в дальнейшем под тем же названием, но уже под начальством сначала Гучкова, а затем других лиц меняло свое назначение и свой состав, превращаясь в *классовую* и тоже довольно боевую организацию командного состава армии.

Мне сообщили, что вокзалы заняты по распоряжению Военной комиссии воинскими частями. О занятии других важнейших пунктов города говорили неопределенно, говорили, что распоряжение сделано, отряды посланы и т. п. Судя по тому, как снаряжались некоторые экспедиции у Таврического дворца, результаты их были сомнительны.

Но не лучшее впечатление производила и работа в «штабе» революции, которую я некоторое время наблюдал в вестибюле, у упомянутого стола. До сих пор явно не было ни малейшего стратегического плана, ни исполнителей его. *На улице* солдатские отряды представляли собой случайные группы, перемешанные со случайной публикой. *В штабе* не было их командиров, а были также случайные военные и штатские люди, в распоряжении которых не было

никаких определенных кадров вооруженных солдат или хотя бы рабочих. Для операций, также случайных, Керенский не назначил из присутствующих определенных людей, а вызывал добровольцев, желающих. Тем же, кто вызвался, не оставалось ничего делать, как разыскивать и собирать себе добровольческий отряд, желающий отправиться в данную экспедицию.

Я напомнил Керенскому об охране. Оказалось, что она не взята, и Керенский предложил мне взять на себя ее захват и обеспечение целостности ее архивов. Он говорил так, как будто для этого имеется отряд и перевозочные средства, но я видел, что это не так. Во всяком случае, как глубоко штатский человек, я отказался от этого предприятия, тяготея больше к *политике*, чем к стратегии, и желая принять участие в работе политических центров революции, в Совете рабочих депутатов, члены которого уже понемногу стягивались в Таврический дворец.

Словом, революционная армия и в прямом и в переносном значении этого слова была явно и совершенно распылена. Положение было критическое и грозное. Казалось, если будет так продолжаться еще несколько часов, силы царизма возьмут революцию голыми руками. Но тем не менее какая-то группа, правильно понимавшая свои задачи и состоявшая из лиц политически авторитетных и технически компетентных, уже действовала как готовая организация. Независимо от результатов своих распоряжений она распоряжалась авторитетно и энергично. И как индивидуальное лицо я не имел никаких оснований соваться в ее недра и в ее распоряжения. Задача состояла в том, чтобы как-нибудь укрепить передаточный механизм, сообщить реальную силу организации. Но здесь всякое индивидуальное начинание было бессильно. Маховым колесом здесь мог явиться лишь Совет рабочих депутатов. Я ждал его открытия и, уже будучи в центре событий, продолжал находиться в состоянии бездействия...

Из города доносились неопределенные слухи о начавшейся анархии, погромах и пожарах. Дворец наполнялся. Лица деятелей социалистического движения мелькали все чаще. Собирался весь социалистический и радикально-интеллигентский Петербург. Сходились рабочие депутаты.

По Екатерининской зале в одиночестве ходил П. Н. Милуков, центральная фигура буржуазной России, лидер единственного в данный момент официального органа власти в Петербурге, фактически глава первого революционного правительства.

Он также находился в состоянии бездействия. Вся его фигура говорила о том, что ему нечего делать, что он вообще не знает, что делать. К нему подходили равные люди, заговаривали, спрашивали, сообщали. Он подавал реплики, видимо, неохотно и неопределенно. Его оставляли, и он снова ходил один.

Милукова остановил профессор Военно-медицинской академии Юревич, будущий (через несколько часов) «общественный градоначальник» Петербурга. Энергично, дельно и сжато он говорил ему о том, что уже было предусмотрено Временным Исполнительным Комитетом Совета рабочих депутатов, – о положении солдат восставших частей. Таких солдат сейчас в городе десятки тысяч. Из них многие тысячи принадлежат к частям и казармам восставшим, вышедшим на улицу не целиком, не в полном составе; они, распыленные, конечно, не решатся вернуться в казармы, где могут ожидать ловушки; они не имеют ни крова, ни хлеба; они, естественно, будут тяготеть к Таврическому дворцу как к центру движения; на Временном комитете думы или, если угодно, на иных организациях, на всех, кто может, лежит обязанность позаботиться об этих солдатах, обеспечить для этого хлебом Таврический дворец и дать приют нуждающимся в нем на его обширной территории; в противном случае именно кадры бесприютных и голодных солдат могут явиться первоисточником анархии и грабежей.

С другой стороны. Таврический дворец как центр революции нуждается в надежной охране и сплочении вокруг себя солдатской массы; соответствующие отряды могут и должны быть образованы именно из таких солдат, тяготеющих к Государственной думе, как к центру духовного сплочения, физического прибежища и безопасности.

Вескость всех этих соображений, обращенных к Милюкову, очевидно, как к официальному лицу, была велика и бесспорна. Юревич требовал немедленных соответственных мер и предлагал себя в распоряжение тех, кто станет во главе дела. Милюков слушал внимательно и, казалось, сочувственно. Но его вид не оставлял сомнений в том, что он здесь беспомощен и ничего предпринять не может, а быть может, это совсем не входит в его планы... Юревич поспешил двинуть свое дело иными путями. Не знаю, было ли ему известно, что об этом уже позаботился Временный Исполнительный Комитет Советов рабочих депутатов и что над этим уже несколько часов работала созданная им продовольственная комиссия с Громаном во главе... Милюков продолжал гулять по Екатерининской зале.

Во дворец действительно прорывались солдаты все в большем и большем количестве. Они сбивались в кучи, растекались по залам, как овцы без пастыря, и заполняли дворец. Пастырей не было.

Из города сообщали не только о погромной тревоге и о наблюдавшихся кое-где эксцессах каких-то темных элементов. Сообщали и о присоединении к революции новых полков, о грандиозных манифестациях, об энтузиазме, охватывающем широкие слои народа... Сообщали, что обыватели останавливают солдат, зовут их в свои квартиры, беседуют, расспрашивают, агитируют и угощают на славу, чем бог послал.

Раньше, чем откроется Совет рабочих депутатов, я все же непременно хотел ориентироваться в настроении буржуазных кругов и выяснить путем непосредственных расспросов отношение их лидеров к вопросу о революционной власти.

Из Екатерининской залы через многолюдный вестибюль я направился в правое, еще пустынное крыло Таврического дворца на поиски какого-нибудь знакомого буржуазно-либерального депутата повиднее... Это *правое крыло*, все его комнаты и коридор, прорезывающий его насквозь, были в течение всего первого периода революции резиденцией Временного комитета Государственной думы и вообще сфер и учреждений, группирующихся вокруг Временного правительства. Члены Государственной думы, формально сохранившие в течение этого периода свое звание (и свое жалованье), считали это правое крыло дворца своими владениями.

Впрочем, как я упомянул, там же помещалась в эти дни (комната 41) и Военная комиссия, то есть военный штаб переворота. *Наоборот, левое крыло* с самого начала попало в ведение демократии в лице Совета рабочих депутатов и его учреждений. Будущие взаимоотношения и будущая борьба между демократией и буржуазией, между Советом рабочих депутатов и Временным правительством (плюс Временный комитет Государственной думы) в первое время имели свое территориальное воплощение в борьбе между *левым и правым крылом* Таврического дворца.

Заглянув в начале коридора в кабинет Родзянки, я увидел там знакомую фигуру одного из лидеров партии прогрессистов, достаточно мне знакомого В. А. Ржевского. Если бы он хотел быть откровенным, то это был источник совершенно достаточный. Со своей стороны он не замедлил обнаружить желание проинтервьюировать меня, человека из другого мира. Я вошел, и мы уселись в комфортабельных креслах недалеко от входа. Огромная слабо освещенная комната была почти пуста. Вдали за столом сидели и вяло переговаривались два-три умеренных депутата. А неподалеку от нас, вставляя реплики в наш разговор, верхом на стуле сидел в военной форме небезызвестный казачий депутат Караулов, член Временного комитета Государственной думы, решительный сторонник переворота, по своим тогдашним заявлениям, но циник и реакционер на деле, будущий скандалист справа на идиотском Государственном совещании в Москве и будущая жертва левого террора во время Донского восстания большевиков...

Ржевский находился в состоянии, характерном для представителя нашего либерального общества.

– Мы все, – сообщил он первым делом, – находимся в большой тревоге... Родзянко с некоторыми членами Временного комитета уже несколько часов назад поехал к председателю совета министров, князю Голицыну для переговоров о положении дел. До сих пор Родзянко не вернулся и никаких вестей о нем нет. Мы опасаемся, что он арестован в ответ на задержание Щегловитова...

Я поспешил высказать свое глубокое убеждение, что такая тревога ни на чем не основана.

Если *думский комитет* видит выход в переговорах с царскими чиновниками даже после всего случившегося, даже после ареста на территории Думы царского министра, то тем более очевидно, на мой взгляд, должно быть для *Голицына, Трепова* и их товарищей, что *вне переговоров с думским большинством* сейчас выхода для *царского правительства* быть не может. Отклонить переговоры, направленные к спасению самодержавия или его обрывков, царские министры сейчас ни в каком случае не решатся. Тем более не посмеют они открыто объявить войну думскому большинству, так охотно до сей минуты демонстрирующему свою лояльность.

– Поверьте, – добавил я, – они отлично оценят положение и уцепятся за якорь спасения в лице Родзянки. Они не поступят, как утопленник, схваченный за волосы водолазом, и не схватят своего спасителя за горло, чтобы потонуть вместе с ним. Ведь думский комитет достаточно далек и от поддержки «анархии», и от сочувствия «социалистической республике»...

Не знаю, насколько ирония моих слов была ясна и убедительна для растерявшегося либерала (впоследствии эсера!), не знающего куда направить свои мысли. Во всяком случае, эти мысли, изысканные в дальнейшем разговоре, обнаруживали полную неопределенность «наклонения» либеральных кругов.

Основные проблемы все еще не были решены. Отношение к событиям по-прежнему обнаруживало колебания от жажды радикального переворота в *психологии* лучших представителей нашего либерализма до стремления к соглашению с царизмом *на деле* как к единственному выходу из положения. Вопрос о революционной власти явно не разрабатывался, но вентилировался до сих пор в умах даже передовых представителей думской «левой»...

Что касается ареста Щегловитова, то он, в частности, вопреки опасениям Ржевского и других, никак не мог послужить поводом для объявления войны царскими властями думскому «законопослушному большинству». Напротив, весь этот эпизод ни в малейшей степени не мог компрометировать Родзянку в глазах старого правительства. Эпизод этот довольно характерен как для позиции думского большинства, представляемого Родзянкой, так и для отношения, существовавших в тот момент внутри думского Временного комитета. Любопытно отражается в нем и внутренняя противоречивая позиция Керенского как члена «лояльного» комитета думы и вместе с тем как представителя демократии, уже стоящего во главе революции.

Сцену ареста Щегловитова я могу передать лишь со слов очевидца, журналиста, близкого сотрудника «Новой жизни», который впоследствии рассказал мне ее. Щегловитов был арестован на своей квартире каким-то студентом, пригласившим с собой для этой цели встреченную на улице группу вооруженных солдат. Под их конвоем Щегловитов был доставлен в Государственную думу около трех часов дня. Его ввели в Екатерининскую залу, куда инициативный студент просил выйти Керенского. Вокруг невиданного зрелища собралась толпа любопытных. Царский сановник стоял, низко опустив голову, когда подошедший Керенский декламировал фразу, повторенную им в эти дни не один раз.

– Гражданин Щегловитов, – сказал он, – от имени народа объявляю вас арестованным.

В это время сквозь толпу протискивалась могучая фигура Родзянки.

– Иван Григорьевич, – как радушный хозяин обратился он к Щегловитову, – пожалуйста ко мне в кабинет!..

Замешательство разрешил студент, заявивший:

– Нет, бывший министр Щегловитов отправится под арест, он арестован от имени народа.

Керенский и Родзянко несколько минут красноречиво, молча смотрели друг на друга и затем разошлись в разные стороны. Щегловитов был отведен под стражей в знакомый ему министерский павильон Государственной думы.

Беседа с Ржевским, прерываемая столь же нечленораздельными, сколь «революционными» замечаниями Караулова, совершенно не удовлетворила меня. Правда, она была характерна для колебательного состояния в руководящих либеральных кругах. Но ведь наступал час, когда колебаниям так или иначе суждено было кончиться, когда вопрос должен был быть поставлен и разрешен...

Ржевский, как и все мои предыдущие собеседники, не хотел или не смел взять быка за рога и не обнаружил понимания того, в чем заключался гвоздь политической ситуации. Однако этот прогрессист был характерной, но не был центральной и ответственной фигурой тогдашней цензовой России.

Не удовлетворенный и не получив материала, для практических выводов, способных осветить должную линию поведения демократии в ближайшие решающие часы, я собирался отправиться в левую половину дворца, где уже толпились густые группы рабочих представителей и на всех парах шла проверка их мандатов. Заседание должно было открыться с минуты на минуту.

Выходя из кабинета Родзянки, я, по-видимому, «шел в комнату, попал в другую» и случайно натолкнулся в соседнем кабинете на товарища председателя Государственной думы. А. И. Коновалова и И. Н. Ефремова, ведущие деловую беседу. Эти более центральные и более официальные фигуры левой буржуазии из той же партии прогрессистов также были знакомы мне совершенно достаточно для приватной беседы. Оба были к тому же членами Временного комитета Государственной думы (а впоследствии оба были, как известно, министрами).

Времени не было, и я прямо, даже без всякой мотивировки, именно как личным знакомым поставил вопрос о том, каковы намерения и планы руководимых ими кругов и каково их отношение к образованию революционной власти. Однако и здесь ничего не вышло. Мои собеседники попросту растерялись и попросту не знали, что мне ответить на прямо поставленный вопрос.

Может быть, не не знали, а просто не хотели ответить?.. Едва ли. В эту, минуту в комнату вошел Милуков, и мои собеседники явно увидели в нем для себя выход из затруднения. Обрадованные его появлением, лидеры партии прогрессистов указали мне на лидера другой партии – кадетов и в один голос предложили мне поговорить с ним на интересующую меня тему. Это не только наивно подчеркивало их беспомощность, но и также наивно демонстрировала, то в чем для меня, впрочем, и раньше никогда не было сомнений. *Милуков* был тогда центральной фигурой, душой и мозгом всех буржуазных политических кругов. Он определял политику всего «Прогрессивного блока», где официально он стоял на левом фланге. *Без него* все буржуазные и думские круги в тот момент представляли бы собой распыленную массу, и без него не было бы никакой буржуазной политики в первый период революции.

Так оценивали его роль и окружающие независимо от партий. Так и сам он оценивал свою роль. С иллюстрациями всего мы будем иметь дело впоследствии.

С Милуковым, не в пример Керенскому, Коновалову и другим, я до того времени совершенно не был знаком. Если бы я сейчас попытался остановиться подробнее на этой фигуре, как это я сделал с Керенским, то это далеко вышло бы за пределы личных воспоминаний. Это было бы попыткой дать политическую характеристику, что совершенно не входит в мои планы. Но я не могу не отметить здесь, что этого рокового человека я всегда считал стоящим головой выше своих сотоварищей по «Прогрессивному блоку», то есть головой выше всех столпов, всего цвета, сливок, красы и гордости нашей буржуазии.

Этот роковой человек вел роковую политику не только для демократии и революции, но и для страны, и для собственной идеи, и для собственной личности. Он, молясь принципу

«Великой России», ухитрился со всего маху, грубо, топорно разбить лоб – и принципу и самому себе. Он с высот своих абстрактных схем и комбинаций умел опускаться до самых низин самой примитивной политической пошлости, вроде филологических упражнений с трибуны Предпарламента насчет немецкого происхождения пресловутого «наказа Скобелеву»... И тем не менее для меня не было никаких сомнений: этот роковой человек один только был способен перед лицом всей Европы воплотить в себе новую буржуазную Россию, возникающую на развалинах распутинско-помещичьего строя.

В частности, я несколько не сомневался, что не в пример моим предыдущим собеседникам Милюков отлично знает, «где раки зимуют», что проблема власти им ставилась и взвешивалась самым тщательным образом в эти дни, по крайней мере в эти часы; что Милюков *поймет*, чего я хочу, с первого намека. Другой вопрос, что он *ответит* и как *решается* им проблема.

В самом деле, в этот момент перед Милюковым и в его лице перед всей цензурой Россией стояла проблема поистине трагическая, которую в то время лишь отдельные единицы либерально-обывательской, хотя бы и околдумской, массы могли охватить в полном ее объеме... Пока царизм окончательно не пал, надо держаться за него, надо *держаться* его, надо *на его базисе* строить всю внутреннюю и внешнюю программу национал-либерализма, – это понимал всякий сколько-нибудь искушенный элемент буржуазии. Этот путь есть абсолютное благо и, во всяком случае, самоочевидное наименьшее зло.

Но что делать, когда царизм *почти пал* под напором народного движения, но окончательно неизвестна судьба его... Конечно, естественный выход – сохранять нейтралитет до последней минуты, не сжигать кораблей, не нарушать нейтралитета ни в ту, ни в другую! сторону. Но это лишь теоретический принцип; на практике же ясно, что должны быть определенные *пределы* нейтралитета, за которыми нейтралитет сам по себе жжет корабли в одну и, быть может, в *обе* стороны. Здесь нужна особая зоркость, гибкость, подвижность.

Но это только начало: настоящая трагедия начинается дальше. Что делать, когда народная революция уже смела царизм с лица земли? Принять власть из рук Царизма это естественно. Обрушиться вместе с царизмом на революцию, если она попытается одним духом смести вместе с царизмом и власть буржуазии, это еще более естественно и совершенно необходимо. Здесь сомнений быть не может. Но если, с одной стороны, царизм безнадежен, а с другой – *не исключена возможность стать во главе этой революции? Если откроются перспективы использования* ее, – что делать тогда? Принять ли власть из рук революции и демократии, когда она станет хозяином положения?

Надо охватить все вытекающие отсюда перспективы; надо оценить сполна всю глубину, всю огромность риска; надо понять, что *именно на этом пути*, при правильном выполнении демократией своей роли в революции национал-либерализму грозят основные опасности. Именно здесь он, только что возглавлявший все Надежды на *будущее*, может оказаться *без настоящего* и должен будет поставить крест на процветании «Великой России» под эгидой «истинно государственных» политиков, на прочном базисе «отечественного земледелия, промышленности и торговли»!..

Не лучше ли уклониться от этой рискованной попытки, от этой авантюры? Не лучше ли отказаться от всяких «использовании» и «возглавлений» революции и немедленно, отмежевавшись от нее, обрушиться на нее со всей силой вместе с наличными обломками царизма, донять ее и мытьем и катаньем, и рублем, и дубьем, и военной силой, и лишением ее всяких питательных соков в критическую минуту, в момент неслыханных конвульсий и спазмов ослабленного, полуразрушенного организма страны?.. В этом *тоже риск*, но, быть может, *меньший*. И не лучше ли решаться скорее и скорее нарушить свой видимый нейтралитет?

Я не сомневался, что Милюкову (и возможно, что одному ему) все эти «за» и «против», все эти скалы и тайные мели были ясны, то есть было ясно самое их существование. И от него же, больше чем от кого-либо, зависело практическое решение всех этих проклятых вопросов.

Как же решает Милюков эти проблемы и, следовательно, как они будут решены на практике в ближайшие часы?.. Понятно, что разговор с Милюковым мог представлять для меня совершенно исключительный интерес.

Однако этот разговор никак не входил в мои планы. С Милюковым я не мог разговаривать как личный знакомый. Интервьюировать же его как некий деятель или представитель демократического лагеря я не имел ни малейших оснований. Было неуместно и неудобно обращаться к столь официальному лицу с просьбой удовлетворить мой личный теоретический интерес. На практическое же значение этого интервью я, конечно, ни в какой мере не мог надеяться. Мое положение человека, не только не имеющего ни тени каких-либо полномочий, но чувствующего свою оторванность от демократических центров, совершенно связывало мне руки.

В этих демократических центрах, как я убедился и разузнал впоследствии, не происходило ничего такого, что делало бы вредной, неуместной, бесполезной мою попытку выяснить позиции «Прогрессивного блока». Мало того: там была такая расплывчатость и такое отсутствие сложившегося и мобилизуемого мнения по этой «высокой политике», что не исключалось даже некоторое практическое значение этой моей попытки. Но в этом я убедился *post factum*, и в тот момент это дела не меняло: беседу с Милюковым я считал для себя неуместной и не хотел идти ей навстречу.

Но эту беседу независимо от моей воли уже начали Ефремов и Коновалов, и я волею судеб должен был ее продолжить. Я отрекомендовался подошедшему Милюкову.

– Ваш злейший враг, – в шутку прибавил я, назвав свою фамилию и желая с самого начала придать совершенно приватный тон нашему разговору.

– Очень приятно, – как-то не в меру серьезно ответил Милюков...

Оговорив и подчеркнув, что побудительной причиной для этого интервью является мое личное любопытство, я сказал Милюкову приблизительно следующее:

– В настоящую минуту, через несколько комнат отсюда, собирается Совет рабочих депутатов. Успешное народное восстание означает, что в *его руках* окажется через несколько часов если не государственная власть, то вся наличная реальная сила в государстве или, по крайней мере, в Петербурге. При капитуляции царизма именно *Совет* окажется хозяином положения. А вместе с тем народные требования при таких условиях неизбежно будут развернуты до своих крайних пределов. Форсировать движение сейчас ни для кого уже нет нужды, оно и без того слишком быстро катится в гору. Но сдержать его в определенных рамках стоило бы огромных усилий. Притом попытка удержать народные требования в определенных пределах – это попытка довольно рискованная: она может дискредитировать руководящие группы демократии в глазах народных масс... Движение может перелиться через все организационные рамки и перейти в безудержный разгул стихии. Во всяком случае, надо тщательно установить те границы, в которых было бы разумно пытаться направлять движение. А для этого необходимо знать, что именно можно достигнуть этими рискованными попытками. Есть ли смысл в них и к чему он сводится? Можно ли ценою их приобрести содействие представляемых вами кругов в деле ликвидации царизма? И можно ли рассчитывать, что при таких условиях эти круги образуют революционную власть, способную закрепить новый строй при условии выполнения ею известных требований, вытекающих из элементарной программы демократии?..

– Какова позиция ваших кругов, «Прогрессивного блока». Временного комитета Государственной думы? – спрашивал я. – Предполагаете ли вы теперь, когда мы находимся в атмосфере революции, взять в свои руки государственную власть?

Быть может, я говорил больше, чем следовало бы говорить «злейшему» врагу... Во всяком случае, из моих слов можно было понять, что в среде демократии и даже в среде «левой»

демократии⁹ имеются элементы (хотя бы и не влиятельные), заинтересованные в образовании *цензовой* власти, считающие это необходимым для закрепления революции и даже готовые отстаивать ради этого тот или иной компромисс... Но тем любопытнее и тем характернее был ответ Милюкова, за редакцию которого я не ручаюсь, но точный смысл которого, с полным ручательством, был таков:

– Прежде всего, я принадлежу к партии, которая связана в своих действиях решениями более общего коллектива – «Прогрессивного блока». Без него она не может ничего ни предпринять, ни решить, представляя с ним единое целое... А затем мы, как ответственная оппозиция, несомненно, стремились к власти и шли по пути к ней, по мы шли к власти не путем революции. Этот путь мы отвергли, этот путь был не наш...

Мне было достаточно. В этом ответе как в капле воды отразился весь наш либерализм с его лисьим хвостом и волчьими зубами, с его трусостью, дряблостью и реакционностью... В решающий час, при свете высказанных мною элементарных соображений, у монопольного представителя прогрессивной буржуазии не нашлось иных слов, кроме лепета о «Прогрессивном блоке», и иных решений, кроме решения в момент революции действовать так же, как они действовали *до* революции, *без* революций!!..

Во всяком случае, положение было ясно. Базироваться на том, что буржуазия в лице «Прогрессивного блока» и думского комитета подхватит и поддержит революцию и присоединится к ней, хотя бы временно и формально, базироваться на этом было невозможно. Приходилось исходить из положения, что если революцию продолжать, завершать и закреплять, то необходимо демократии быть готовой взять *на себя одну* всю тяжесть этого подвига, имея *против себя* объединенные силы царизма и всех имущих классов.

Не надо сжигать корабли; надо меньше всего форсировать подобный исход событий и способствовать ему; надо оберегать все возможности иного исхода. Но не надо *надеяться* на него, а надо готовиться к немедленному решительному бою со всем прогрессивно-царистским блоком, к бою в неравных условиях, к бою, который, вероятно, был бы роковым для революции...

Милюков хотел продолжать развитие своих мыслей в том же духе. Но мне было достаточно. Я поблагодарил его за любезность и поспешил в заседание Совета рабочих депутатов.

В правом коридоре дворца уже былолюдно, шумно и оживленно. У двери в комнату 41, где заседала Военная комиссия, гудела большая толпа штатских, а особенно военных. Солдаты, матросы и вооруженные рабочие проводили по коридору десятки, целые вереницы арестованных полицейских и царских охранников. В вестибюле Екатерининской залы уже была теснота, которая увеличивалась по мере приближения к левому крылу, где собирался Совет.

Наряду с праздными и случайными солдатами встречались сосредоточенные, серьезные солдатские лица официальных представителей и делегатов восставших частей: в полном вооружении, с бумагами-мандатами в руках, они расспрашивали, как и где им «явиться для доклада» в Совет рабочих депутатов.

На каждом шагу мелькали знакомые лица деятелей всевозможных партий и учреждений. Все, с кем когда-либо и где-либо приходилось встречаться на почве какой-либо общественности, все были тут.

Вот Громан и Франкорусский, пробегая мимо, бросают, что *первым делом Совета должна быть постановка продовольственного вопроса* и создание продовольственной комиссии, иначе голодные районы и голодные солдаты устроят дикий бунт и движение будет задавлено. Вот встречается мой старый товарищ по ссылке, бывший «ликвидатор»-меньшевик, ныне

⁹ а Милюков хорошо знал меня за левого; потом он как-то говорил мне, что он читал мои книги и следил за моими печальными «пораженческими» выступлениями

видный работник в экономических организациях М. А. Броунштейн. Он сию минуту пришел издалека, он прошел огромную часть города и потрясен всем виденным.

– В городе начинается полная анархия, – говорит он. – Солдаты грабят и громят. Черная сотня, охранники, городские предводительствуют. Никакой власти, никакой организации, никакого удержу. Полиция, юнкера и вся сила старого строя мобилизуются. С чердаков и из окон стреляют, чтобы провоцировать толпу. *Первым делом Совета должна быть организация охраны города* и пресечение анархии. Необходима немедленно рабочая милиция и энергичные распорядительные комиссары в районах. Этот вопрос надо поставить в первую очередь. Иначе движение будет задавлено.

Вот пробегает Вечеслов, старый меньшевик, левый интернационалист во время войны, искусный врач, говорящий только о политике (по крайней мере со мной) даже во время выступления, выслушивания и впрыскивания дифтеритной сыворотки.

– На Петербург, – задыхаясь говорит он, – движутся полки с фронта или из провинции. Мы будем раздавлены. Организуется ли какой-нибудь отпор? Что делает Военная комиссия? Надо сейчас же открывать заседание и поставить вопрос об обороне революции.

Доктор бежит дальше. Из Екатерининской залы я протискиваюсь через толпу в помещение Совета.

В эти дни Совет расположился в комнатах бюджетной комиссии Государственной думы, NN 11, 12 и 13. В первой помещался секретариат-канцелярия, а сейчас стоял стол, за которым шла проверка мандатов и регистрация состава собрания. Во второй огромной по размерам комнате (№ 12), где заседала раньше бюджетная комиссия, почти во всю величину комнаты, «покоем» был расположен крытый сукном стол, перед которым стояли кресла: там происходили первые заседания Совета. Не знаю, чем была занята небольшая, разделенная пополам портьерой третья комната – бывший кабинет председателя бюджетной комиссии, но со следующего утра в течение первых дней там, за занавеской, заседал Исполнительный Комитет Совета. Первую половину этой комнаты была попытка обратиться в канцелярию или секретариат Исполнительного Комитета, но из этой попытки ничего не вышло.

За столом в первой комнате сидело несколько Человек, регистрировавших депутатов от имени вышеупомянутого Временного Исполнительного Комитета Совета рабочих депутатов. Среди них я увидел некоторых знакомых лиц – Г. М. Эрлиха, будущего делегата русской советской демократии за границей. Не помню хорошо, в качестве кого он зарегистрировал меня, выдавая мне пропуск в заседание, кажется, в качестве представителя «социалистической литературной группы».

Но, так или иначе, я очутился во второй комнате, где большая часть кресел у стола была уже занята депутатами и, кроме того, множество народу расположилось на досках, положенных на что попало, вдоль стен и в конце «покоя». Рабочие-делегаты оживленно разговаривали, собирались в группы, стояли и переходили с места на место.

Солдаты держались разнo: одни, прошедшие партийную школу или просто более смелые и энергичные, более ориентируясь в положении, чувствовали себя центром внимания и старались оправдать это своими рассказами о событиях в своих частях Другие, новые в политике люди, бородачи с винтовками и делегированные представители низшего командного состава, с нашивками, молча и сосредоточенно сидели за столом, жадно вслушиваясь и всматриваясь...

Вон Шляпников, он пытается созвать и рассадить около себя своих большевиков. Гвоздев с огромной шелковой розеткой в петлице собирает *правую* вокруг своей рабочей группы Центрального военно-промышленного комитета. Другие меньшевики – виднелись около недоумевающей фигуры Чхеидзе, от которого в ответ на бесконечные вопросы доносились обрывки фраз.

– Я не знаю, господа, я ничего не знаю..

Из эсеров был налицо Зензинов и несколько из тех, кого было привычно видеть вместе с ним – интеллигентов и студентов (будущих правых эсеров). Но в центре эсеров-рабочих была не эта группа. Рабочими-эсерами руководил и мобилизовал их человек, от которого открешивалось, которого не признавало официальное эсерство *даже до раскола*, а некоторые эсеры даже ставили этого человека под подозрение. Это был будущий левый эсер Александрович (или сначала – Петр Александрович), впоследствии расстрелянный своими ближайшими друзьями-большевиками, своими собственными сотрудниками по комиссии Дзержинского после так называемого «левоэсеровского мятежа», последовавшего за убийством Мирбаха.

Не в пример многим другим левым эсерам, которые с большой легкостью вслед за господствующим большинством сменили свое правое эсерство на левое, этот Александрович был *всегда левым*, даже весьма левым эсером, находившимся в резко оппозиционном, можно сказать, в революционном настроении по отношению к собственному партийному большинству. С этой фигурой, не интересной и не значительной политически, но любопытной психологически, мы еще встретимся много раз. Сейчас я не буду на нем останавливаться и только отмечу, что позицию тогдашнего эсеровского рабочего Петербурга представлял именно он, Александрович, в отличие от интеллигентских эсеровских кружков, которые быстро монополизировали партийную марку при помощи культурных сил, нахлынувших в партию после революции из радикального лагеря.

Эти новые, «мартовские» социалисты-революционеры и старые «бывшие люди», наводнив партию эсеров, опираясь на отсталую солдатско-крестьянскую массу, очень быстро придали эсерству вполне законченный мелкобуржуазный характер и сделали из этой партии достойный пьедестал Керенскому и будущим коалициям. На такую позицию не замедлили стать не только такие лидеры партии, как искони правый оборонец Зензинов, но и такие, как циммервальдцы Гоц и отчасти Чернов. Эти объединенные лидеры социалистов-революционеров вскоре стали «представлять» огромную разбухшую партию, включившую в свой состав все мелкобуржуазные, межеумочно-интеллигентские и просто тяготеющие ко всякому большинству слои – до либеральных помещиков (тот же Ржевский) и боевых генералов включительно. Левое и, в частности, циммервальдское (без кавычек) течение, представляемое петербургскими рабочими, вскоре было совершенно поглощено этим гнилым, но безбрежным большинством. Тогда же при первых шагах Совета рабочих депутатов, когда его эсеровскую фракцию составляли одни столичные рабочие, от имени партии эсеров в нем действовал неистовый и непримиримый циммервальдец.

Именно он, Александрович, а не сидевший тут же Зензинов по инициативе эсеровских рабочих через несколько часов был избран в Исполнительный Комитет.

Зал заседания наполнялся. Бегал, распорядился, рассаживал депутатов Н. Д. Соколов. Он авторитетно, но без видимых к тому оснований разъяснял присутствующим, какой кто имеет голос, совещательный или решающий, и кто вовсе голоса не имеет. Мне, в частности, он разъяснил, что я *имею* голос – теперь я уже не помню какой. Но никакого практического значения эта юрисдикция будущего сенатора, конечно, не имела.

Я столкнулся с Тихоновым, и мы рядом с ним заняли места у стола, в почтительном отдалении от его головы, где размещались официальные лица депутаты Чхеидзе и Скобелев, члены самочинного Временного Исполнительного Комитета, Гвоздев, кооператор Капелинский, один из лидеров петербургских меньшевиков Гриневич, в котором я узнал вчерашнего посетителя Горького.

Самого деятельного члена Временного Исполнительного Комитета Б. О. Богданова почему-то не было теперь налицо, он появился, кажется, лишь через сутки. Там же, поблизости, за столом возвышалась солидная фигура Стеклова, напоминающая скорее саженого среднерусского бородатого землероба, чем одесского еврея.

Там же, у головы стола, с чем-то приставал ко всем и каждому Хрусталева-Носарь, бывший председатель и руководитель Совета рабочих депутатов (вместе с Троцким) в 1905 году. Там же хлопотал Н. Д. Соколов, который ровно в 9 часов вечера и открыл заседание Совета, предложив избрать президиум... На минуту появился Керенский.

Я уже не испытывал тоски по центрам движения, не ощущал оторванности от живого дела. Я был в самом горниле великих событий, в лаборатории революции.

К моменту открытия заседания депутатов было около 250 человек. Но в зал непрерывно вливались все новые группы людей, бог весть с какими мандатами, полномочиями и целями...

Какой должен был быть порядок дня этого полномочного собрания представителей демократии в решающий час революции? Было ясно, что выдвинуть на первую очередь *политическую* проблему, форсировать задачу образования революционной власти ни в каком случае нельзя. При общей неопределенности положения, при вышеописанных настроениях в правом крыле Таврического дворца поставить эту проблему в порядок дня можно было лишь с одной целью: чтобы немедленно решить ее в смысле объявления Совета рабочих депутатов высшей государственной властью. Поставить в порядок дня вопрос о власти при таких условиях естественно было предоставить другим – сторонникам немедленной диктатуры Совета. Таковыми могли быть *большевики*, возглавляемые Шляпниковым и эсеры, руководимые Александровичем.

Но, как бы то ни было, и те и другие были слабы, не подготовлены, не инициативны и не способны ориентироваться в положении. Ни те, ни другие не выдвинули этого вопроса. Между тем обстоятельства выдвигали совершенно неотложные дела в области *техники* самого процесса революции.

Мои случайные собеседники о порядке дня были, конечно, правы – каждый по своему и все вместе: движение будет раздавлено без экстренных экономических мероприятий, то есть без организации *продовольствия* столицы, без немедленных мер по *охране города* и пресечению анархии и без мобилизации сил местного гарнизона и рабочего населения для *отпора возможным нападениям на Петербург*, то есть без стратегической обороны революции... Какова бы ни была в конечном счете власть, всей этой «*техники*» революции не мог выполнить никто, кроме Совета рабочих депутатов, и все эти задачи были необходимы, все они были неотложны для окончательной победы над царизмом...

Что касается «стратегических» мероприятий, оборонительных и наступательных, то, как известно, ими занималась Военная комиссия, ядро и большинство которой составляли в эти часы «советские» элементы. Вообще выносить «стратегию» в общее собрание Совета было нелепо. Но необходимо было сделать другое – взять под контроль Совета действие этой Военной комиссии, утвердившейся – территориально – в правом крыле дворца.

Всем этим определялся необходимый и вполне рациональный порядок дня первого заседания. По всем перечисленным вопросам надо было принять решение и затем поручить выполнить их особо избранному исполнительному органу Совета... Но надо сказать, что самый вопрос о создании Исполнительного Комитета был поставлен лишь в конце заседания.

В президиум Совета, естественно, были названы и немедленно, без возражений приняты думские депутаты Чхеидзе, Керенский и Скобелев. Кроме председателя и двух его товарищей были избраны четыре их секретаря – Гвоздев, Соколов, Гриневич и рабочий Панков, левый меньшевик. Если не ошибаюсь, Керенский прокричал несколько ничего не значащих фраз, долженствующих изображать гимн народной революции, и моментально исчез в правое крыло, чтобы больше не появляться в Совете.

Не помню и не знаю куда девался на это время будущий постоянный председатель Совета Чхеидзе. Председательствовать остался Скобелев, который среди суматохи и всеобщего возбуждения совершенно не владел ни каким-либо общим планом действия, ни собранием, протекавшим шумно и довольно беспорядочно. Но это ни в какой мере не помешало Совету в пер-

вом же заседании сделать свое основное и необходимое революции дело – создать сплоченный идейный и организационный центр всей петербургской демократии, с огромным непрерываемым авторитетом и способностью к быстрым решительным действиям.

Как водится, немедленно по избрании президиума с разных концов раздались требования слова «к порядку». Председатель, желая покончить с формальностями, ставит на утверждение уже действовавшую мандатную комиссию с Гвоздевым во главе. С какими-то предложениями «к порядку» и «к организации» Совета, поминутно ссылаясь на опыт 1905 года, выступил Хрусталева-Носарь. Он явно предлагал себя в руководители советской организации и политики и не только произвел на всех крайне неприятное впечатление, но и заставил думать о том, как отделаться от его услуг, пока через несколько дней он не исчез из Петербурга «играть роль» в других центрах.

Слова просил кто-то из продовольственников, но ничего не было удивительного в том, что деловой порядок дня был тут же сбит требованиями *солдат* предоставить им слово для докладов. Требование было поддержано с энтузиазмом. И сеча этих докладов была достойна энтузиазма.

Встав на табуретку, с винтовкой в руках, волнуясь и запинаясь, напрягая все силы, чтобы связно сказать несколько порученных фраз, с мыслями, направленными на самый процесс своего рассказа, в непривычной, полуфантастической обстановке, не думая, а быть может, не сознавая всего значения сообщаемых фактов, простым корявым языком, бесконечно усиливая впечатление отсутствием всяких подчеркиваний, один за другим рассказывали солдатские делегаты о том, что происходило в их частях. Рассказы были примитивны и почти дословно повторяли один другой. Зал слушал, как дети слушают чудесную, дух захватывающую и наизусть известную сказку, затаив дыхание, с вытянутыми шеями и невидящими глазами.

– Мы от Волынского... Павловского... Литовского... Кексгольмского... Саперного... Егерского... Финляндского... Гренадерского...

Имя каждого из славных полков, положивших начало революции, встречалось бурей оваций. Но не меньше волнения вызывало и название новых частей, вновь вливающихся в народно-революционную армию и несущих ей победу.

– Мы собрались... Нам велели сказать... Офицеры скрылись... Чтобы в Совет рабочих депутатов... велели сказать, что не хотим больше служить против народа, присоединяемся к братьям-рабочим, заодно, чтобы защищать народное дело... Положим за это жизнь. Общее наше собрание велело приветствовать... Да здравствует революция! – уже совсем упавшим голосом добавлял делегат под гром, гул и трепет собрания.

Страшные винтовки, ненавистные шинели, странные слова!.. Теоретически это уже известно, известно, известно с утра. По на практике не поняты, не созданы, не переварены события, где все «поставлено на голову»...

Было тут же предложено и принято при бурных аплодисментах слить воедино революционную армию и пролетариат столицы, создать единую организацию, называться отныне *Советом рабочих и солдатских депутатов* ... Но многих и многих полков еще не было с нами. Были ли там колебание, или сознательный нейтралитет, или готовность к бою против «внутреннего врага»?

Положение еще было критическим. Была возможность кровавой схватки организованных полков с командным составом. Еще могли голыми руками взять революцию.

«Продовольственник» Франкорусский получает, наконец, слово и, обрисовав вкратце положение продовольственного дела в Петербурге и все возможные последствия голода среди масс, предлагает избрать продовольственную комиссию, обязав ее немедленно приступить к работам и снабдив ее соответственными полномочиями. Никаких прений, конечно, не возникает. Комиссия немедленно избирается из социалистических работников продовольственного

дела с В. Г. Громаном во главе. Только и ждав этого момента, все избранные немедленно удаляются для работы.

Во время этой процедуры ко мне подходит М. А. Броунштейн, бывший, кажется, в числе избранных продовольственников, и настаивает, чтобы я немедленно взял слово для предложения об *охране города*. Я не видел никакого преимущества в моем выступлении в сравнении с его собственным и предложил выступить лишь в его защиту. М. А. Броунштейн получает слово и очень удачно, при полном внимании и сочувствии собрания описывает положение дела со всеми возможными его последствиями.

Он предлагает немедленно дать директивы и районы через присутствующих делегатов о назначении каждым заводом милиции (по 100 человек на тысячу), об образовании районных комитетов и о назначении в районы полномочных *комиссаров* для руководства водворением порядка и борьбой с анархией и погромами.¹⁰ Предложение не встретило возражений, его рациональность была очевидна, но оно вызвало некоторые теоретические недоразумения и практические поправки. В частности, намечаемой организации приписывались функции наступательных действий против оставшихся сил царизма. Я выступил в защиту предложений Броунштейна, информируя собрание о деятельности Военной комиссии и предостерегая от смешения функций и полномочий. Предложение, в общем, было принято, но еще не было органа, который взял бы на себя конкретное выполнение работы; не было ни границ районов (будущие советские и муниципальные районы или полицейские участки?), ни сборных пунктов, ни кандидатур Комиссаров...

В связи с вопросом об охране города, естественно, возникло предложение о *воззвании к населению* от имени Совета. Вообще информация столицы, а по возможности и провинции, и элементарные директивы населению были насущнейшей (хотя и сравнительно простой, легко выполнимой, не требующей специальных забот собрания) задачей минуты. Кем-то из моих соседей было предложено избрать литературную комиссию и поручить ей немедленно составить воззвание, представив его затем на утверждение Совета... Однако эта «органическая работа», занявшая уже около часа, вновь была прервана.

Сквозь неплотные заграждения у дверей в эту минуту бурно прорвался молодой солдат и выбежал на середину залы. Он не просил слова и не дожидался разрешения выступить с речью. Подняв над головой винтовку и потрясая ею, захлебываясь и задыхаясь, он громко выкрикивал слова радостной вести:

– Товарищи и братья, я принес вам братский привет от всех нижних чинов в полном составе лейб-гвардии Семеновского полка. Мы все до единого постановим ли присоединиться к народу против проклятого самодержавия, и мы клянемся все служить народному делу до последней капли крови!..

Явно прошедший школу партийной пропаганды, в пафосе, граничащем с исступлением, юный делегат восставших семеновцев в банальных фразах, в трафаретных терминах действительно изливал свою душу, переполненную грандиозными впечатлениями дня и сознанием достигнутой вожаемой победы... В собрание, оторванное от деловой насущной работы, вновь хлынула струя энтузиазма и романтики. Никто не помешал семеновцу довести до конца затянувшуюся речь, сопровождаемую громом рукоплесканий... Притом всем было ясно значение принесенной вести: Семеновский полк был одной из самых надежных твердынь царизма. В зале не было человека, который не знал бы «славных» традиций «молодцов-семеновцев» и, в частности, не помнил бы их московских подвигов в 1905 году... Всего этого не было больше... Смердный туман рассеялся в один миг при свете нового ослепительного солнца.

¹⁰ Между прочим. М. Л. Броунштейн у нас первый ввел в употребление это слово «комиссар» которым без нужды так злоупотребляли впоследствии

Оказалось, что в зале имеются делегаты от новых восставших частей. Они не решались потребовать слова и выступили теперь, когда семеновец открыл им дорогу. Вновь перед собранием прошли рассказы целого ряда воинских частей: какого-то из казачьих полков, кажется, бронезового дивизиона, электротехнического батальона, пулеметного полка – только что страшных врагов народа и отныне крепко спаянных друзей революции. Революция росла и крепла с каждой минутой.

Продолжались выборы в литературную комиссию. Называют кандидатов. Избраны Соколов, Пешехонов, Стеклов, Гриневиц и я. Возражающих нет; борьбы фракций и партийных кандидатов не замечается совершенно. . . Между тем никаких директив комиссии не дается, и всем ясно (или могло быть ясно), что воззвание будет выпущено в том виде, в каком оно будет представлено комиссией. Так был совершен первый акт Совета, способный иметь политическое значение.

Мы немедленно выходим из собрания и ищем места, где бы пристроиться, чтобы составить воззвание. Кроме Гриневица, все члены комиссии друг друга довольно хорошо знали, и было ясно, что при нашем большом политическом диапазоне, справа налево, мы можем существенно разойтись и проработать довольно долго. . .

Один за другим мы пробирались через густую толпу чающих попасть в заседание и уже проникших в комнату № 11. Еще теснее сгрудилась толпа у дверей этой комнаты в Екатерининской зале. Десятки тысяч людей всех возрастов и состояний пришли встречать революцию к самому сердцу ее. . . В залах было уже столько народу, сколько вмещал дворец. Говорили, что на улице стоит еще больше и караулы Военной комиссии едва сдерживают толпу.

Мы не находили, куда деваться для нашей работы, и через переполненный вестибюль добрались до правого крыла, надеясь пристроиться в одном из кабинетов Государственной думы. Мимо нас по-прежнему проходили вереницы задержанных полицейских и других «политических» совершенно нового и невиданного сорта. Избранных направляли в министерский павильон, превращенный в «общую камеру» высших царских сановников. Мелкоту, заполнив ею два-три думских апартамента, помещали на хорах большого Белого зала, где они и находились в течение следующих дней.

В Екатерининской зале и в вестибюле солдаты с ружьями в руках стояли группами и кем-то для порядка расставленными, но легко разрываемыми цепями. Другие сидели на полу, поставив ружья в козла, и ужинали хлебом, селедкой и чаем. Третьи, наконец, уже спали, растянувшись на полу, как спят на вокзалах третьеклассные и теплушечные пассажиры. . .

Картина Таврического дворца – довольно обычная за время революции. Мы потом вспомним ее и 4–6 июля, и 22 июля, в ночь «коалиционного» заседания в Зимнем дворце, и 5 января 1918 года, в ночь тихой смерти Учредительного собрания.

Подходя к правому коридору, мы увидели, что с улицы в вестибюль и в ближайшие комнаты направлялись, крича и расталкивая толпу, усталые солдаты, переноса какие-то тяжести, складывая часть поклажи тут же у входа. Это были в огромном количестве ящики со снарядами, с винтовками, с револьверами, а также ленты для пулеметов. Самые пулеметы, охраняемые часовыми, также виднелись там и сям.

В двух шагах от выходной двери была навалена куча мешков с мукой. Около них также стояли двое послушных часовых, таких же, каких ставило царское начальство, не обнаруживавших никакого признака понимания того, что происходит вокруг. . . Кому именно и почему именно они повинуются? – мелькнуло в голове. . .

– Вон она, появилась, крупчатка-то! – весело крикнул около меня солдат, основательно двинувший меня ящиком.

Ноги скользили по полу, где грязь смешивалась со снегом. Был беспорядок. В дверь с улицы немилосердно дуло. Пахло солдатскими сапогами и шинелями – знакомый запах «обиска», который оставляли городские в квартирах царских «верноподданных».

Мы не замедлили растеряться. Кого-то оттиснула толпа. Остальные, пробираясь дальше, не нашли себе места для работы – вплоть до того самого кабинета товарища председателя Государственной думы, где я три часа назад разговаривал с Коноваловым и Милюковым.

Что произошло за это время в правом крыле?

Этот кабинет был пуст или почти пуст. Мы расположились за письменным столом, на котором стоял телефон и были письменные принадлежности. Пока не все были в сборе, я хотел сбегать напротив, в помещение Военной комиссии, узнать о положении дел.

Перед дверью в комнату № 41 и в самой комнате было негде упасть яблоку. Было много военных из прапорщиков, предлагавших свои услуги комиссии. Другие пришли с предложениями и за указаниями по разным местным делам.

Но ничего добиться было явно невозможно. Большинство же толпилось без определенного дела и только мешало всякой работе. Комиссия уже перебралась, убегая от посторонних, в следующую комнату, куда я не пробрался. Говорили, что комиссия пополнилась авторитетными стратегами, что работа идет на всех парах и что там Керенский, вдохновляющий эту работу. Но говорили и другое, скептически посмеивались, безнадежно махали рукой.

Мне было интереснее собрать последние объективные сведения из города. Они имелись, и немаловажные. Петропавловская крепость пала – это первое. Падение этой вековой цитадели царей было, как известно, мирным завоеванием революции; крепость капитулировала без выстрела вместе с командным составом. Но в тот момент это известие было преждевременным. Падение крепости произошло лишь после присоединения к революции думского Временного комитета, после его переговоров с комендантом крепости.

Затем – вторая новость: царское правительство заперлось в Адмиралтействе; его охраняют с артиллерией верные ему части; революционные войска также с артиллерией по приказанию Военной комиссии «штурмуют» Адмиралтейство. Этот «штурм», как известно, также не оправдался; на деле «верные» войска на следующий день разбежались, и царские министры ненадолго скрылись в других убежищах... Но, во всяком случае, это сообщение, свидетельствовавшее о наличии активных царских войск, было довольно тревожным.

Оно, правда, поглощалось третьим сообщением: *Кронштадт целиком присоединился к революции* ... Сомневаться в этом сообщении ни у кого не было оснований. Репутация Кронштадта была слишком определенной и вполне заслуженной.

Но это важное и радостное известие меркло перед новым, четвертым по счету. Войска, посланные против революционной столицы, движутся на Петербург; уже прибыл 171-й пехотный полк, стоящий на стороне правительства; он уже занял Николаевский вокзал, и сейчас между его частью и отрядом революционных войск идет сражение на Знаменской площади...

Потом мы убедились, что все попытки направить войска на усмирение Петербурга были бесплодны. Поход Иуды Иванова и других генералов кончился позорным провалом. Все «верные» части сохраняли свою верность и слушались начальников только до вокзалов, а затем немедленно переходили на сторону революции, и начальники слушались их.

Десятки раз напоминал я потом об этом окружающим в дни корниловщины, не веря ни секунды, что Корнилов может дойти до Петербурга и «усмирить» его. Но в те критические минуты все это представлялось совсем в другом свете... Последнее сообщение о перестрелке на Знаменской площади при очевидной дезорганизации революционных сил, при явной технической беспомощности ее против кадровых войск было в высшей степени грозным. Всякому было очевидно огромное расстояние от полковой резолюции о присоединении к народу до готовности вступить в кровавый бой за свободу, до способности победить в бою с регулярными, быть может, фронтовыми войсками...

– Погибнем мы, погибнем! – восклицал, хватая себя за голову, слушавший обо всем этот Гриневич, на которого я наткнулся в коридоре. Я повлек его и кабинет товарища председателя Думы составлять воззвание Совета рабочих депутатов.

Все эти сообщения о текущих событиях касались *техники*, стратегии революции. Что произошло за это время в сфере «*высокой политики*»?

Вернувшись в кабинет товарища председателя Думы, я мог только узнать, что Родзянко уже довольно давно и вполне благополучно вернулся из своей экскурсии, предпринятой в целях «последних предупреждений», в целях последних попыток составить «единый фронт» царизма и буржуазии против народной революции. Но Родзянко, во всяком случае, опоздал.

Во-первых, народная революция не хотела ждать, пока мобилизуются враждебные силы, и настолько далеко ушла вперед, что даже слепым стала очевидна бесплодность кабинетно-кружковых контрреволюционных «комбинаций». Во-вторых, последний царский кабинет министров не мог быть к услугам Родзянки: он отсиживался в Адмиралтействе и думал не о «комбинациях», а о личной безопасности. Не знаю, кого отыскал и с кем совещался Родзянко от имени Государственной думы и всех имущих классов. Но, во всяком случае, за эти часы стало ясно, что тактика одоления революции «единым фронтом» с силами царизма уже стала, пожалуй, более рискованной, чем тактика одоления демократии путем *попытки использовать* и обуздать революцию, «*присоединившись*» к ней и «*став во главе ее*»...

Бесплодная экскурсия Родзянки в связи с тем, что происходило в двух шагах от его кабинета, в Совете рабочих депутатов, сдвинула наконец каменную Магометову гору и поставила ребром вопрос о перемене тактики. Наступил роковой момент, когда лисий хвост должен был окончательно сменить волчьи зубы на авансцене буржуазной политики – сменить надолго, на весь ближайший период революции...

Кто-то из радикальных депутатов, ворвавшись в кабинет, где мы сидели, с таинственным видом и горящими глазами сообщил «политическую» новость: Родзянко после совещания с думским комитетом заперся в своем кабинете (соседнем с нами) и просил дать ему несколько минут на размышление... Никаких комментариев радикальный депутат сделать не мог: он слышал звон...

Нам было некогда. Наше воззвание не ждало, и мы усердно работали... В кабинет входили, громко разговаривали, на нас косились, нам мешали. Мы забрались в чужие владения, но деваться было некуда. Приходилось мириться с положением непущенных гостей и с косыми взглядами.

Работа шла довольно туго. Сидя за письменным столом, вокруг которого расположилась наша комиссия, я записывал отдельные фразы под совместную диктовку товарищей. Мы решили изъять из воззвания всякую политику и посвятить его лишь элементарному выяснению событий, оповещению о создании центра революционной демократии в виде Совета рабочих депутатов и призыву к организации и поддержанию порядка. Лишь в конце было упомянуто об Учредительном собрании как воплощении демократического строя, который объявлялся целью революции.¹¹

Мы работали минут пятнадцать. Было около полуночи. На столе зазвонил телефон. Я взял трубку.

– Это Государственная дума?... Нельзя ли попросить кого-нибудь из членов Временного комитета? Нельзя ли П. Н. Милюкова?..

Какой-то несомненный интеллигент говорил настойчивым и приподнятым тоном. Но где же взять Милюкова или думских лидеров, когда нам дорога минута?... Я указал на мое затруднение и просил назвать номер своего телефона.

– Так передайте, пожалуйста, что звонят из Преображенского полка. Полк в полном составе присоединяется к народу, находится в распоряжении Государственной думы и ждет приказаний от Временного комитета...

¹¹ это воззвание, которое перепечатывать здесь не стоит, было опубликовано в № 1 «Известий ПБ Совета»

В эту минуту из кабинета Родзянки в комнату вошел Милюков. Увидев нашу группу, он прямо направился к нашему столу. У него был торжественный вид и сдерживаемая улыбка на губах.

– Состоялось решение, – сказал он, – мы берем власть...

Я не спрашивал, кто это – «мы». Я ничего больше не спрашивал. Но я, как говорится, всем существом почувствовал новое положение, новую благоприятную конъюнктуру революции и новые задачи демократии, встающие на очередь с этой минуты. Я почувствовал, как корабль революции, бросаемый в эти часы шквалом по полному произволу стихий, поставил паруса, приобрел устойчивость, закономерность в движениях среди страшной бури и качки и между мелями и рифами взял определенный курс на далекую, невидимую в тумане, но хорошо известную точку. Теперь снасти в порядке, машина заработала, надо только умело провести корабль.

Закрепление переворота я считал теперь обеспеченным. Непрерывная работа всего государственного механизма полным ходом при таких условиях была гарантирована: переворот не будет задавлен голодом и разрухой. Легкая и безболезненная ликвидация старого строя на всем необъятном пространстве страны была несомненна. Попытки сорвать переворот со стороны плутократии, фронтовых генералов и всех наличных сил царизма были заведомо обречены на неудачу.

Но перед демократией теперь возникала новая задача, новая программа действий, новая линия поведения: *не допустить, чтобы совершенный переворот лег в основу буржуазной диктатуры*, и обеспечить, чтобы он стал исходной точкой действительного торжества демократии. *До сих пор* надо было обеспечить власть, необходимую в интересах переворота. *Теперь* необходимы такие формы общественности после переворота, такие условия работы революционного правительства, какие нужны не для плутократии, использующей революционный народ, а для самого революционного народа...

В моих руках все еще была телефонная трубка. Я передал ее Милюкову. Выслушав офицера Преображенского полка, лидер будущего нарождающегося правительства тут же ответил, быстро входя в новую роль:

– Хорошо, сейчас от имени Временного комитета Государственной думы к вам приедет полковник Энгельгардт, который примет командование полком.

Этот полковник Энгельгардт, думский депутат, кажется октябрист, получил на самом деле иное назначение: он стал во главе Военной комиссии, на которую теперь, в новых обстоятельствах, поспешил официально наложить свою руку Временный комитет Государственной думы.

Думской буржуазии было необходимо, во-первых, продемонстрировать, вселить в сознание народа, что силами революции движет Государственная дума, что она отвоевывает новый строй у царизма; а во-вторых, «правой» половине Таврического дворца было необходимо фактическое подчинение ей всего военного аппарата, взятого в целом.

Здесь завязывался узел всей политики первого революционного правительства и намечалась его линия поведения по отношению к демократии, воплощенной в Совете рабочих депутатов.

Нам было некогда. Кабинет, в котором мы работали, настолько оживился, что мы вынуждены были искать себе нового пристанища. Мы двинулись дальше по правому коридору и окончили наше воззвание в какой-то канцелярии, наполненной пишущими машинами.

Поставив наконец точку, большинство нашей комиссии вернулось в заседание Совета, в то время как мы с Гриневичем взяли окончательно проредактировать и переписать воззвание на машинке. Вскоре сбежал в заседание и я, не окончив диктовки и оставив Гриневича за машинкой в пустой, освещенной одной лампой канцелярии.

Из ее окна был виден сквер перед Таврическим дворцом: толпа была уже совсем не многочисленна. Сквер имел вид скорее лагеря. Около костров стояли группы солдат, пыхтели военные автомобили, на которых виднелись красные флажки, стояли пушки и пулеметы.

Был ли грозен, был ли опасен этот лагерь, хотя бы для одной дисциплинированной роты? Был ли он сколько-нибудь надежной защитой революции, душа и тело которой были сосредоточены в Таврическом дворце? Объективно говоря, едва ли. Субъективно, я убежден, что нет. Проверить это теперь невозможно, а доказывать это тогда не пришлось. Благодарение судьбе! Царизм был беспомощен: для него не нашлось дисциплинированной роты...

В то же время составлял свои воззвания Временный комитет Государственной думы. В одном из них он призывал к воздерживанию от эксцессов и поддержанию порядка и спокойствия. В другом он объявлял о своем решении образовать правительство в соответствии с желаниями народа и просил поддержки у населения...

Толпа немного поредела и в залах. Работа в заседании Совета была в полном разгаре, но я застал уже некоторые признаки разложения. Некоторые депутаты стояли, переговаривались, проявляли нетерпение. Толпа посторонних уже не держалась у стен, а надвинулась на собрание вплотную, смешиваясь с депутатами... Было около двух часов ночи. Все измотались, уже плохо понимали и плохо держались на ногах от физической и духовной усталости за этот беспримерный день.

Я до сих пор в точности не знаю, чем занимался Совет во время отсутствия нашей литературной комиссии. Никаких протоколов не осталось и не велось. Мне случайно рассказывали после, что долгие споры возбудил вопрос о том, входить ли членам Совета и его президиума во Временный комитет Государственной думы.

Для Керенского этот вопрос не возбуждал сомнений, но Чхеидзе поставил его еще днем перед Временным Исполнительным Комитетом и сильно упирался, не желая украшать своим присутствием, освящать авторитетом социал-демократии орган «Прогрессивного блока». До сих пор он состоял в думском комитете, во-первых, по категорическому, кажется ультимативному, настоянию его большинства, во-вторых, – по требованию большинства членов Временного Исполнительного Комитета Совета рабочих депутатов (в лице К. А. Гвоздева, Б. О. Богданова и др.). Но он вошел в думский комитет под условием апелляции к Совету в первом же его заседании («до вечера»).

Тогда думский комитет, как мы знаем, имел или, вернее, официально приписывал себе лишь технические функции – «для сношений с организациями и учреждениями». Теперь он взял на себя функции *государственной власти*. Я не знаю, было ли это принято во внимание в заседании Совета при обсуждении вопроса о вхождении в думский комитет Чхеидзе и Керенского. Сейчас, когда я пишу эти строки, я не знаю даже, было ли доложено Совету о состоявшемся решении думского большинства *принять власть*. Но мне рассказывали, что вопрос о вхождении Чхеидзе возбудил продолжительные прения и был наконец решен в положительном смысле.

Понятно, насколько характерны были эти прения для тогдашних группировок и течений в Совете, и я очень жалею, что не слышал их, но надеюсь, они найдут своего историка.

Несмотря на усталость, было необходимо решить ряд важных дел. Было прочитано наше воззвание, довольно слабое, и было утверждено без прений и поправок. Затем был поставлен вопрос о печатном органе Совета. Было постановлено издавать ежедневные «Известия» и завтра же утром (то есть через несколько часов) выпустить первый номер. Избранной Советом литературной комиссией было поручено редактировать «Известия» или образовать редакцию.

В связи со всем этим возник вопрос о печати вообще. Краткие летучие прения, возникшие по этому поводу, были также очень характерны. Я помню выступления (небольшие реплики) двух сторон – Стеклова и Соколова. Первый отстаивал запрещение прессы на ближайшие дни, указывая на опасность печатной черносотенной агитации для переворота. Соко-

лов апеллировал к принципу свободы, отмечая, что немедленное восстановление нормальных условий жизни лишь укрепит революцию.

Я был всецело на стороне последнего мнения и на всем протяжении революции, во все самые критические моменты, отстаивал полную и неограниченную свободу печати, отвечающей лишь перед судом; я исходил при этом столько же из принципа, сколько из практической целесообразности такого порядка, но я не только обычно оставался в меньшинстве, а в своей крайней позиции – часто в единственном числе. В данном же случае я нимало не сомневался, что ни один орган уже не осмелится выступить против революции, в защиту старого порядка.

В ночь 27–28 февраля по этому поводу было принято компромиссное решение: разрешить выход газет в зависимости от их индивидуальности. Какие бы сомнения у кого ни возникли по поводу этого решения, но характерно вот что: ни у *кого* не *возникло сомнений, что этот вопрос должен решить Совет рабочих депутатов*, который один только и может осуществить это решение; ни у кого не возникло сомнений в том, что этот акт защиты революции нет нужды, нет оснований предоставлять на усмотрение нового правительства из правого крыла, нет нужды испрашивать его санкции и даже доводить до его сведения.

Реальную силу здесь имел только Совет, располагавший, в частности, всей армией типографских рабочих. В исходе революции Совет был также заинтересован независимо от позиции буржуазии в этом вопросе, и он не задумался решить его по собственному усмотрению. Это также крайне характерно для намечавшегося места в революции правого и левого крыльев Таврического дворца, для слагавшихся взаимоотношений между Советом и первым революционным правительством.

Далее, было необходимо приступить к выборам Исполнительного Комитета. Чтобы не прерывать рассказа, я не буду сейчас останавливаться на характеристике этого учреждения и его личного состава, учреждения, бесспорно, заложившего основы всей революции и всецело определившего ее политику на весь ее период до самого падения первого революционного правительства. Я это сделаю после. Сейчас упомяну только о самой процедуре выборов, также представляющей небезынтересный штрих для будущих исследователей революции.

Картина этих выборов была совершенно необычна для всех последующих избраний исполнительных комитетов. Первый исполнительный орган Совета не был составлен на основании пропорционального представительства фракций, ибо не было самих оформленных фракций и не были достаточно известны платформы фракций, которые позволили бы сочувствующим голосовать за кандидатов близлежащих групп. Поэтому партийные депутаты голосовали только за своих и, наоборот, за партийных кандидатов голосовали только свои, благодаря чему они собирали сравнительно по небольшому числу голосов.

Большее число голосов получили *нефракционные* кандидаты, так или иначе лично известные собранию или особенно активно выступавшие на нем. Но и за них голосовало по небольшому абсолютно числу депутатов: рабочие-представители, явившиеся от своих станков, в большинстве все же их не знали (и не могли знать в условиях царизма), а партийные – берегли голоса для «своих», ибо кандидаты проходили в порядке числа поданных голосов; избрать же было решено всего восемь человек.

В результате за нефракционных кандидатов – Стеклова, Капелинского, меня – было подано максимальное число голосов – всего 37–41, а за партийных кандидатов большевиков и эсеров – Шляпникова и Александровича – минимально необходимое в 20–22 голоса. Кроме того, в Исполнительный Комитет было постановлено включить ранее избранный президиум (председателя, двух товарищей и четырех секретарей), а также пригласить с решающим голосом представителей центральных и местных организаций социалистических партий.

Оставалось еще важное дело: надо было определить отношение к Военной комиссии. Было постановлено: требовать допущения в Военную комиссию всего состава избранного

Исполнительного Комитета. Было постановлено спросить о согласии на то действовавшего состава Военной комиссии, и немедленно был получен ответ: «Просят пожаловать».

Тем временем надо было озаботиться выпуском «Известий»... Пешехонов исчез и вообще несколько дней не появлялся (он представлял в Исполнительном Комитете партию народных социалистов, но в эти дни ему пришлось взять на себя трудную и неблагодарную местно-административную роль – «комиссара Петербургской стороны».

Другие члены литературной комиссии, которой было поручено это дело, все вошли в Исполнительный Комитет и при всей важности задачи не могли отлучиться из Таврического дворца. Я отправился на поиски подходящих журналистов, естественно, обращая мыслями к редакции и сотрудникам «Летописи». Помню, уклонился от этого дела Ерманский, но охотно согласился Тихонов. Он взялся добыть отсутствовавшего Базарова, к ним присоединился Авилов, и эта будущая «новожизненская» компания, составив первую фактическую редакцию советского органа, немедленно отправилась в типографию «Копейка», занятую по «праву революции» и кое-как оборудованную силами союза печатников. Утром, в десятом часу, первый номер «ИЗВЕСТИЙ» раздавался в стенах Таврического дворца, а также в сотнях тысяч развозился в автомобилях и разбрасывался по городу.

Я направился в Военную комиссию. Заседание Совета еще продолжалось, но уже окончательно расплзлось, расплывалось и переходило в беспорядочную, хотя и строго деловую беседу: речь шла о важных организационных и агитационных задачах каждого депутата в своих районах на завтрашнее утро...

Шел четвертый час... В преддверии Военной комиссии и в комнате N 41 была та же толпа, та же духота и еще большая, казалось, неразбериха. Никто ничего не мог ни понять, ни добиться. Все невыносимо устали, а большинство уже перестало чего-либо добиваться. Только активнейшей группе, с самого начала вступившей в работу, сознание взятой на себя роли взвинтило нервы на все ближайшие дни. Невозможно сказать, насколько продуктивна оказалась и была объективно необходима ее *техническая* работа. Но ее огромное *моральное* значение было бесспорно, и субъективно эти работники, несомненно, оказались на высоте.

Сквозь чрезвычайные препятствия, чуть ли не баррикады, воздвигнутые комиссией в помощь энергичнейшим церберам, я пробрался в комнату верховного штаба революции. Но и в святилище все же было много народу, явно постороннего и бездействующего. Был беспорядок и те же признаки разложения. Кроме обычной мебели было две-три садовых скамейки. Но все было занято, большинство стояло. Вместе с другими членами Исполнительного Комитета я присоединился к группе, окружавшей письменный стол.

За столом сидел полковник Энгельгардт. Перед ним на столе лежала какая-то карта, кажется план Петербурга. Облокотившись на руку, он глубокомысленно рассматривал эту карту, иногда делая замечания и куда-то показывая. Общий вид его не оставлял сомнений: он не знает, что делать со своей картой и вообще не знает, что надо делать и что можно сделать... Офицеры, бывшие в комнате и вновь прорывавшие фронт церберов, обращались к нему с «экстренными» вопросами, заявлениями и требованиями. Эти экстренные и неотложные вопросы, эти «внеочередные заявления» – жестокий, смертельный бич всякой планомерной работы, – казалось, принимались главой комиссии не только без досады, но даже с удовольствием. Видно было, что, кроме этой текущей работы, едва ли что-либо делается и может быть сделано...

Рядом с Энгельгардтом сидел морской офицер эсер Филипповский, которого в течение нескольких дней и ночей в любое время я заставал на этом же месте бодрим и работоспособным. Тут же находился Пальчинский, сидел Мстиславский уже в качестве революционного офицера, но еще не связанного с советскими сферами.

Отмечу здесь: мне совершенно неизвестно, какие именно разговоры предшествовали назначению Энгельгардта начальником Военной комиссии, ядро которой образовалось днем в левом крыле и главными работниками которой были социалисты. Такой порядок был, оче-

видно, сочтен естественным после «присоединения» к революции думского Временного комитета... Думский комитет, уже начавший за это время в качестве власти «органическую» административную работу, назначил также и *продовольственную* комиссию, которая объединилась и вела работы совместно с советской. Однако, насколько помню, Громан оставался во главе этой объединенной комиссии...

– Ну как же дела? – спросил я Мстиславского.

– Весьма неважно, – ответил он, – полный разброд среди войск, нет никаких организованных частей... Без командного состава управиться невозможно. Командный же состав сейчас дискредитирован, а главное, исчез почти поголовно. Этим он больше всего и дискредитирован. Без него же части не сплываются, добровольно сходятся в отряды, добровольно же и расходятся. Ничего сколько-нибудь серьезного сделать с ними нельзя.

– А что делает неприятель?

Ничего определенного никто не знал. По-прежнему говорили об осаде Адмиралтейства, о взятии Петропавловской крепости и о движении каких-то войск на Петербург. Пехотный 171-й полк действительно прибыл и высадился на Николаевском вокзале, но уже он давно рассосался и побратался с гарнизоном. Быть может, перестрелкой с ним мы были обязаны горячности и инициативе революционного отряда.

Говорили, что полки идут на Петербург из Царского, Ораниенбаума и других окрестностей столицы. Что за полки, с какими намерениями?.. Было очевидно, что *от этого* и ни от чего больше зависит судьба революции. *Видимость* сопротивления, какую могли оказать силы Военной комиссии, пожалуй, была бы достаточной в силу своего *морального* эффекта. Но что, если морального эффекта будет мало и потребуются реальное сопротивление? Конечно, тогда в поражении нельзя было сомневаться.

Определенных сведений никаких не было. Кризис продолжался, и, выполняя «текущие дела», Военная комиссия, как и все мы, полагалась в конечном счете лишь на судьбу. Делать здесь было решительно нечего.

Между тем у Исполнительного Комитета еще оставалось неотложное дело по организации охраны города, согласно постановлению Совета. Надо было спешить. Оставив двух или трех своих членов в Военной комиссии как представителей Исполнительного Комитета, мы отправились обратно в Совет, чтобы заняться этим делом.

Было около четырех часов. Заседание Совета было только что закрыто, следующее было назначено в 12 часов наступающего дня. Депутаты расходились, но зал был еще занят группами совещающихся рабочих. Мы задержали представителей районов, через которых только и могли действовать, лишённые всякого технического аппарата.

У Исполнительного Комитета еще не было не только никакой организованной техники, хотя бы добровольческого персонала в несколько человек, но не было и никакого убежища для работы... В Екатерининской зале на концах ее в эпоху Думы стояли полукруглые столы с креслами. В полутемной и значительно опустевшей зале на этих креслах сидели, полулежали и спали уставшие солдаты и рабочие. Нам охотно очистили место, и мы пристроились было за одним из этих столов. Но нас тут же так облепила всякого рода публика, что работа была невозможна и пришлось сняться с якоря. Сами измученные, в досаде на нелепые препятствия, мы попробовали было пристроиться на хорах большого зала и, теряя и собирая друг друга, направились туда. Но хоры и кулуары их оказались заняты арестованными; караул не пустил нас, и мы потянулись обратно.

Наконец мы нашли пристанище в самом зале думских заседаний. Огромный темный зал был почти пуст. По амфитеатру кресел было рассыпано несколько одиночек и пар, еле заметных фигур. Одни спали, другие тихо разговаривали. Мы вошли в ложу журналистов против думской «левой», и *здесь состоялось первое заседание Исполнительного Комитета*.

Темные фигуры со всего зала стали потихоньку стягиваться к нашей ложе. Стали поблизости и слушали. Мы не обращали внимания... Проработав с час, мы выработали директивы районам относительно милиции, наметили адреса сборных пунктов и кандидатов в комиссары. Затем мы сообщили об этом представителям районов, которые немедленно отправились в путь. Наше постановление было опубликовано в приложении к № 1 «Известий», которое вышло после полудня 28 февраля.

Мы ограничились им порядок дня первого заседания Исполнительного Комитета. В перспективе предстоявшей работы надо было подумать об отдыхе, хотя бы два-три часа. Ближайшие члены Исполнительного Комитета стали появляться в шубах и шапках... Надо было забежать только в Военную комиссию.

В ее владениях было уже несколько просторнее. Но в общем мы застали прежнюю картину. Меньше сновало офицеров в походной форме, с боевым видом, было меньше крика, распоряжений, кутерьмы, возбуждения. Было как будто затишье. Энгельгардта не помню. Остальные были на своих местах. Ничего нового, кажется, не случилось. Кризис революции и ее стратегия были в прежнем состоянии. Глубокая ночь и утомление, чувство беспомощности в работе как будто сковали энергию. К сознанию опасности как будто притерпелись... Таврический дворец, мозг и сердце революции, окруженный кольцом грозных орудий без прикрытия и тощими группками солдат, без пастырей и дисциплины, ждал воли божьей...

В комнате Военной комиссии нас, трех-четырех «забежавших» членов Исполнительного Комитета, ждал приятный сюрприз. Посредине комнаты на садовой скамейке стоял какой-то огромный жестяной жбан, он был наполовину полон котлетами, остальную половину уписывали окружающие. Возле жбана лежал каравай хлеба и огромный заржавленный перочинный нож. Мы не спрашивали, кто, откуда и для кого достал все эти замечательные предметы...

Кто близко жил или имел ночлег, отправился в город, чтобы утром вернуться к работе. Я, конечно, не мечтал о своей Петербургской стороне. Выжав что было можно из Военной комиссии, я отправился на поиски свободного дивана, кресла, скамьи. В залах была полутьма, в них оставались почти одни солдаты. Тихая беседа сидевших на полу групп и отдельные громкие чьи-то распоряжения лишь подчеркивали наступившую относительную тишину. Я обошел все доступные комнаты, но мои поиски были совершенно бесплодны. Знакомые кабинеты правого крыла были заперты предусмотрительными и ретивыми служащими, посевшими в «хорошем обществе» и шокированными невиданным нашествием санкюлотов...

В других комнатах было занято решительно все. Я прошел через залу советского заседания в маленький кабинет, принадлежащий бюджетной комиссии; на столе «покоем», на диванах и креслах, на подоконниках – везде, где только можно, лежали, сидели и спали.

Я вернулся в Екатерининскую залу, но нечего было и думать уснуть или забыться среди ее лагеря. Я побрел в Белый зал заседаний, чтобы расположиться в депутатском кресле. Побродив между рядами, я дошел до угловой ложи Государственного совета. Кресла были совсем неудобны. В углу ложи я увидел пустое пространство, бросил на пол шубу, на нее шапку и лег на них...

Был давно шестой час. Через стеклянный (некогда провалившийся) потолок зала тихо наполнялась молочным светом. Редкие солдатские фигуры бродили, переговариваясь по зале, и заглянули ко мне в ложу... Надо было уснуть. Я повернулся к стене. Из Екатерининской залы доносился мерный топот, раздавались громкие выкрики команды... Как будто дворец наполняется снова?... Как будто маршируют какие-то организованные части?..

Я заснул или, быть может, впал в забытье... Это был первый день революции.

Революции день второй 28 февраля

Портрет последнего царя. – В Военной комиссии. – Возвращение офицерства. – Положение улучшается. – Первородный конфликт революции. – «Контакт» между солдатами и офицерами перед лицом правого и левого крыла. – Агитация Родзянки и Милюкова. – Первый проблеск «двоевластия». – Задачи Исполнительного Комитета Совета рабочих депутатов. – Максим Горький во дворце революции. – Как я пытался составить редакцию «Известий». – Первый Исполнительный Комитет. – Его состав. – Его «физиономия». – «Псевдонимы». – Течения и группы в первом центральном учреждении революционной демократии. – Как мы заседали. – Совет и обыватели. – Деловое и моральное значение Совета. – Опасность для переворота окончательно рассасывается. – Царские сановники. – Техника нашей работы в эти дни. – Типография и «капитан Тимохин». – Паника в Совете и Керенский во время паники. – И. И. Манухин. – Первая встреча «летописцев». – Приказ Родзянки и солдатское самосознание. – Аресты. – Польская делегация. – Конец второго дня. – Беззащитность Таврического дворца. – Проблема власти: позиция большевиков и их «манифест», позиция советской правой. – Ночью на улицах.

Я проснулся или, быть может, очнулся от каких-то странных звуков. Я мгновенно ориентировался в обстановке, но не мог объяснить себе этих звуков.

Я встал и увидел: два солдата, подцепив штыками холст репинского портрета Николая II, мерно и дружно дергали его с двух сторон. Над председательским местом думского Белого зала через минуту осталась пустая рама, которая продолжала зиять в этом зале революции еще много месяцев... Странно! Мне совершенно не пришло в голову озаботиться судьбой этого портрета. И до сих пор я не знаю его судьбы. Я больше заинтересовался другим.

На верхних ступенях зала, на уровне ложи, в которой я находился, стояло несколько солдат. Они смотрели на работу товарищей, опираясь на винтовки, и тихо делали свои замечания. Я подошел к ним и жадно слушал... Еще сутки назад эти солдаты-массовики были безгласными рабами низвергнутого деспота, и сейчас еще от них зависел исход переворота... Что произошло за эти сутки в их головах? Какие слова идут на язык у этих черноземных людей при виде картины шельмования вчерашнего «обожаемого монарха»?

Впечатление, по-видимому, не было сильно: ни удивления, ни признаков интенсивной головной работы, ни тени энтузиазма, которым готов был воспламениться я сам... Замечания делались спокойно и деловито, в выражениях столь категорических, что не стоит их повторять.

Перелом совершился с какой-то чудесной легкостью. Не надо было лучших признаков окончательной гнили царизма и его невозвратной гибели.

Большие часы над входными дверьми в зал показывали половину восьмого. Была пора начинать второй день революции.

Я направился в Военную комиссию, которая была естественным сборным пунктом для членов Исполнительного Комитета. В Екатерининской зале снова стояли цепи солдат, неизвестно зачем поставленных и что охраняющих. Солдат здесь было – тысячи. Но с балюстрады, на которую я вышел из Белого зала в Екатерининскую, я увидел новую картину. Внутри цепи

солдаты были построены, производилось какое-то учение. Офицеры выкрикивали обычные слова команды, солдаты проделывали свои артикулы, вздвигали ряды и т. д. Как будто что-то приходило в какой-то порядок.

Я стал пробираться через ряды солдат к правому коридору. Было холодно. В голове стучали, бог весть откуда, вдруг всплывшие ямбы шиллеровского Валленштейна:

Die Kirchen selber liegen voll Soldaten.¹²

По залам начинали двигаться и штатские, заночевавшие, подобно мне, во дворце революции. По дороге раза два меня остановили и вновь прибывшие, которых было не видно вчера. Они предлагали свои услуги. Это было отлично, но как ими воспользоваться? Где разыскать их? Где назначить им место сбора?.. Необходимо было Исполнительному Комитету заняться собственной организацией, но членов его еще не было видно среди разношерстной толпы.

Хотелось проглотить чего-нибудь горячего. Но это была утопия. Мне посоветовали толкнуться к служителю и показали его каморку – далеко в правом крыле. Но каморка была пуста. Не было никаких признаков ни съестного, ни горячего. На столе стояла лишь кружка, в которую я нацедил воды из торчавшего в стене крана и выпил ее.

В комнатах Военной комиссии я застал приблизительно то же и тех же, что и «вчера», то есть два часа назад. Тот же Мстиславский на мой вопрос ответил, что дела улучшаются. Во-первых, дошли или не дошли полки из провинции и из окрестностей, но ни о каких враждебных и боевых действиях ничего не слышно. Во-вторых, в Петербурге командный состав возвращается на свои места. В комиссию поступают массовые предложения услуг от офицерства, чего совершенно не было раньше. Кроме того, занятие Петропавловки – уже вполне достоверный факт: гарнизон в полном составе с командиром во главе заявил о признании власти комитета Государственной думы. Адмиралтейство же еще занято каким-то отрядом, не присоединившимся к революции, но кто там отсиживается, в точности неизвестно.

Возвращение в полки офицерства и его присоединение имело, несомненно, огромную важность. Прежде всего революция в этот момент не располагала ни малейшими силами, которые могли бы заменить офицерство, предохранить армию от полного и немедленного разложения и превращения ее в источник всеобщей анархии или диктатуры темной и распяленной солдатчины. Только наличный офицерский состав при отсутствии сколько-нибудь прочной, привычной, властной демократической организации мог послужить здесь необходимой спайкой, и в данный момент он должен был быть для этого использован.

А затем была и другая сторона: нейтрализация или отвлечение офицерства от *царизма на сторону революции* было необходимо постольку, поскольку офицерско-юнкерская масса могла послужить *активнейшей силой всей буржуазии* в случае немедленной контрреволюции, при попытке немедленно задавить переворот. Если ликвидация царизма *не могла* быть произведена *без буржуазии и против буржуазии* вообще, то тем более важно было в данный момент перекинуть на сторону революции силы офицерства – в частности и в особенности.

К тому же не надо забывать, что тогдашнее офицерство столицы далеко не было старым гвардейским кадровым офицерством: оно было переполнено прапорщиками, то есть всякого рода третьим элементом, готовым примкнуть к революции не за страх, а за совесть в случае физической безопасности и при возможности так или иначе наладить отношения с недоверчивой солдатской массой... В результате всего этого руководители демократии, и в частности Исполнительный Комитет, всеми силами стремились к тому, чтобы офицерство вернулось к своим частям и к своим обязанностям, а солдаты вновь признали бы офицерство. В этом отношении цели Исполнительного Комитета Совета рабочих депутатов вполне совпадали с целями думского комитета, поставившего официально одной из первой своих задач «установить связь между офицерами и нижними чинами».

¹² «В церквах – и то солдаты на постое» (нем.)

Но это была лишь *одна сторона* дела, или это была лишь *небольшая часть* всей задачи буржуазии и демократии по отношению к армии, или же это была еще только *форма*, но не *содержание* задачи. С другой же стороны, в целом, по существу, стремления руководящих групп буржуазии и демократии здесь не только не совпадали, но, естественно, должны были послужить краеугольным камнем глубокой, упорной, принципиальной, попросту говоря, «*классовой*» борьбы между первым правительством революции и советской демократией. Эта борьба составит все основное содержание данного периода революции, завершившегося падением правительства Гучкова-Милюкова, а вместе с тем эта борьба послужит основным материалом для моих дальнейших записок. Поэтому сейчас мы и не будем углубляться в принципиальный смысл этого первородного конфликта, с которым явилась на свет революция, конфликта между буржуазией и демократией на почве *отношения к армии*. Сейчас мы не будем говорить о *внутренней* стороне, о подоплеке этого конфликта, а просто уясним себе, в чем он заключался. А затем по личным воспоминаниям я расскажу, что вспомню, о том, в каких внешних формах он протекал.

Временный комитет Государственной думы, стремясь «установить связь между офицерами и солдатами», желал видеть эту связь совершенно «*такою же, какой она была при царизме*». Он надеялся с полным основанием, что офицерство, примыкая к революции и отдавая себя в распоряжение Государственной думы, делается верным слугой буржуазии, и Временный комитет, естественно, стремился к тому, чтобы нижние чины в руках этого офицерства были прежними безвольными орудиями, «самодельствующими винтовками», а вся армия, тем самым перейдя в прежнем своем виде из рук царя в руки самоуправляющейся плутократии, стала бы основой ее диктатуры вообще и ее борьбы с демократией в частности.

Именно в пользу такой связи между офицерством и «нижними чинами» думский комитет и развил на редкость деятельную агитацию с первого же момента, с описываемого утра 28 февраля. Лозунгом этой агитации были «порядок», «подчинение», послушание, повинование и тому подобные всевозможные модификации понятия офицерских ежовых рукавиц... И понятно, что в этой своей агитации, в этой задаче буржуазия стремилась как можно шире использовать и эксплуатировать старания руководителей демократии – старания точно так же водворить порядок и «наладить связь» между солдатами и офицерами.

Советскому Исполнительному Комитету необходим был достаточно зоркий глаз, чтобы среди бури революции, среди невозможных условий работы разглядеть Сциллу потери офицерства, анархии и гибели переворота под прямыми ударами контрреволюции и Харибду цепких лап плутократии, захвата ею всей реальной силы, оказавшейся в руках народа, и постепенного, но быстрого поглощения всех достигнутых и будущих завоеваний по примеру других революций торжествующей буржуазией. Надо было иметь *зоркий глаз*, чтобы нащупать тропинку между омутом и болотом; надо было иметь *такт*, чтобы хорошо пройти по этой тропинке; надо было иметь *авторитет*, чтобы *заставить* следовать за собой тех, кого не было времени убеждать и просвещать.

Исполнительный Комитет Совета немедленно принял меры к воссозданию связи между различными элементами армии; но он не мог допустить, чтобы эта связь была прежним механическим подчинением, слепым повинованием, элементарным беспрекословным послушанием солдатской демократической массы буржуазному офицерству. Строились новые основы нашего государственного бытия, и для демократии они обязательно предполагали какие-то новые формы «связи», какие-то новые отношения внутри армии, какую-то новую ее конституцию, исключавшую во что бы то ни стало возможность *использовать* армию для завершения переворота *против* народа, в узкоклассовых интересах плутократии.

Перед лицом трагических уроков истории эти гарантии у демократии *должны были быть во что бы то ни стало*. Наша же буржуазия, изменившая народу не в пример другим не на другой день после переворота, а еще до переворота, не начавшая революцию, чтобы

своевременно обернуть фронт против народа, а притянутая к движению за волосы развернувшейся во всю ширь народной революцией, – наша буржуазия не давала оснований сомневаться в своих намерениях. Надо было держать ухо остро и следить «в оба», если мы не хотели в то время сменить при царе Николае одного думского Протопопова на другого. Ведь лидер же, необходимый, монопольный лидер революционного правительства, только что объявлял провокацией все рабочее движение в России!

В Военной комиссии я услышал, что, несмотря на ранний час, этот самый лидер новой власти уже отправился на Охту, в первый запасный полк, держать речь по просьбе командного состава. В течение этого дня этому официальному главе новой власти пришлось не раз говорить перед полками, которые приводились офицерами в Таврический дворец для «представления» Государственной думе. Но еще больше агитационной работы пришлось на долю официального представителя думского комитета Родзянки. Впрочем, ничего более полезного в эти дни этот «простой русский человек» и не мог сделать, и его действительно руководящие друзья отвели ему эту функцию вполне основательно...

Передо мной лежит № 2-й листка, издававшегося в эти дни группой буржуазных и бульварных журналистов под названием «Известия». В этом номере приведены речи членов думского комитета к полкам, приходившим со своим командным составом выразить верность Государственной думе с утра до вечера 28 февраля. Я процитирую некоторые «деловые» отрывки этих речей.

«Старый солдат» Родзянко, твердя «братцам» и «православным воинам» не о политике, а о «порядке», говорил примерно так:

– Господа офицеры, приведшие вас сюда, во всем согласны с членами Государственной думы. Прошу вас разойтись по казармам и делать то, что вам прикажут ваши офицеры.

– Слушайте ваших офицеров, ибо без начальников воинская часть превращается в толпу, неспособную водворить порядок. Я счастлив, что между вами устанавливается полная связь (лейб-гренадерам).

– Чтобы вы могли помочь делу водворения порядка, за что взялась Государственная дума, вы не должны быть толпой. Без офицеров солдаты не могут существовать. Я прошу вас подчиняться и верить вашим офицерам, как мы им верим. Возвращайтесь спокойно в ваши казармы, чтобы по первому требованию явиться туда, где вы будете нужны (преображенцам).

– Я старый человек и обманывать вас не стану, слушайте ваших офицеров, они вас дурному не научат и будут распоряжаться в полном согласии с Государственной думой (9-му запасному кавалерийскому полку). И т. д.

Все это должно было попасть не в бровь; а прямо в глаз. Старого человека его более молодые, но более зрелые товарищи дурному не научили, а самому насущному и необходимому. Но старый человек не мог дать больше того, чему его научили.

Любопытнее послушать того, *кто учил*, кто несравненно лучше понимал всю подноготную, всю философию момента, кто не в пример своей думской периферии умел смотреть в корень и хватал прямо быка за рога. Его выражения гораздо более точны, яркие и содержательны.

В *офицерском собрании* 1-го запасного полка, где Милюкова встретило все офицерство с командиром во главе, новый министр говорил так:

– Задача комитета восстановить порядок и организовать власть. Для этого Временному комитету необходимо содействие военной силы, которая должна действовать организованно. Единственная власть, которую все должны сейчас слушать, – это Временный комитет Государственной думы. Двоевластия быть не может...

В обращении же к *солдатам* оратор подчеркивал, как важно солдатам быть вместе с офицерами, которые будут вместе с Государственной думой, и особенно настаивал, что они

«должны подчиняться исключительно приказаниям, которые за подписью полковника Энгельгардта будут направляться командирам полков»...

Лейб-гренадерам Милюков твердил:

– Мы должны быть организованными, едиными и подчиненными единой власти. Властью этой является Временный комитет Государственной думы. Ему нужно подчиняться и никакой другой власти, ибо двоевластие опасно. Найдите своих офицеров, которые стоят под командой Государственной думы, и сами встаньте под их команду. Этот вопрос сегодня очередной.

Милюков отлично понимал очередной вопрос Он, правда, не имел достаточно такта, чтобы в данной обстановке воздержаться перед братцами-солдатами от замечаний насчет «зеленого змия». Но он имел достаточно проницательности, чтобы в первый же момент революции, до выяснения позиции Совета рабочих депутатов признать очередным и поставить ребром будущий роковой вопрос – о *двоевластии*.

Любопытно еще здесь отметить, что думский комитет имел достаточно осторожности, чтобы в данный момент воздержаться в своей агитации от сколько-нибудь отчетливой постановки проблемы *войны и мира*. Глава и вдохновитель нашего империализма, для которого вся проблема переворота была проблемой «войны до конца», войны за Константинополь, Дарданеллы и еще черт знает что, отлично сознавал, что выдвигание на очередь вопроса о войне вызовет немедленную реакцию со стороны демократии. Реакция эта обязательно будет такой силы и такого характера, что комбинация с думской властью этим будет сорвана. А между тем корабли уже были сожжены.

Совет рабочих депутатов со своей стороны не только не выдвинул проблемы войны на первый план, но он снял с очереди, он свернул и аннулировал все военные или, точнее, антивоенные лозунги, которые были развернуты в самом начале движения и которые привели бы при своем форсировании в данный момент к неизбежному срыву правительственной комбинации. Заправила думского блока понимали, что на это надо ответить взаимностью. Свою программу внешней политики (старую царистскую программу) Милюков решил и предпочел развертывать, хотя и неуклонно, но постепенно Совет рабочих депутатов, однако, также имел в виду развертывать свою программу мира постепенно, но неуклонно.

Итак, с утра 28 февраля по всему фронту правого крыла уже шла атака на гарнизон с кличем: «Возвращайтесь спокойно в казармы, подчиняйтесь офицерам, подчиненным Государственной думе, и не слушайте никого больше, опасаясь двоевластия!»

Было ясно: нашему Исполнительному Комитету кроме неотложных задач внутренней организации предстояло немедленно принять меры к постановке *агитационного дела*, в частности, среди гарнизона, а также немедленно озаботиться *производством выборов во всех воинских частях* в Совет рабочих депутатов. Это во-первых. Кроме того, надо было не откладывая продолжить мероприятия по охране города, упорядочить редакционное дело советских «Известий».

И наконец, главное – было необходимо разрешить *политическую проблему* на ближайший период революции, то есть определить фактически и закрепить формально отношения демократии в лице Совета к формируемой цензовой власти, а тем самым создать некий новый временный политический *строй*, соответствующий интересам демократии и обеспечивающий правильное развитие революции. Некоторые мероприятия власти, в частности всеобщая амнистия, не терпели ни малейшей отсрочки.

Так определялась в общем и целом необходимая «программа» дня для Исполнительного Комитета. Кроме того, в 12 часов должен был собраться пленум Совета. Надо было начинать работу.

Во дворец уже вливались густые ряды штатской публики и перемешивались с солдатами. Залы уже начинали принимать вчерашний вид. Приходившие из города рассказывали, что столица еще далека от порядка и успокоения. В разных концах разгромили магазины, склады,

квартиры и еще громят то-то и там-то Уголовные, освобожденные вчера из тюрем, вместе с политическими, перемешавшись с черной сотней, стоят во главе громил, грабят, поджигают. На улицах небезопасно: с чердаков стреляют охранники, полицейские, жандармы, дворники. Они провоцируют свалку и анархию.

В ответ им толпы рабочих и солдат не оставляют камня на камне от полицейских учреждений, ловят и избивают «фараонов» нещадно. Всех подозрительных по службе старому режиму хватают, и под арестом в различных местах сидят тысячи правых и виноватых. Вереницы таких арестантов по-прежнему проводили через вестибюль под озлобленные крики солдат и рабочих.

В нескольких местах были пожары. Ощущается недостаток в транспортных средствах. Ломовики боятся ездить, в районах может не оказаться хлеба.

Но с другой стороны, рассказывали и немало утешительного. Двухмиллионное население города, спрыснутое живой водой, стало немедленно расправлять члены от вековой спячки в окопах царизма. Город уже заработал всеми своими элементами и уже проявлял чудеса самостоятельности. Обыватель сделал чрезвычайно много для продовольствия солдат. В районах шла на всех парах организация охраны и милиции согласно директивам и независимо от них. Надежные отряды уже были сформированы, вооружены и действовали по всему городу, обращая на себя внимание своей энергией и корректностью.

Как по мановению руки возникали домовые комитеты и всякие виды взаимопомощи и самопомощи. Обыватель встряхнулся. О его огромном подъеме свидетельствовали все единодушно... Это не мешало тому, что огромная часть всякого люда нацепила на себя красные бантики «на всякий случай», а дворники уже явно с перепугу сбились с ног, отыскивая, что бы такое красное под видом флага вывесить на воротах...

В вестибюль с улицы опять таскали ящики с военными припасами. Их уже как будто было достаточно на случай осады, если бы нашлись желающие и способные пользоваться ими в момент опасности. Носили еще какие-то тюки с бумагами, папками, книгами.

– Что это такое? – спросил я у наблюдавшего за переноской их знакомого студента-эсера.

– Это архив Департамента полиции. Керенский велел перевезти сюда, – разъяснил мне студент.

Я смотрел на груды упакованных дел, как Гамлет на череп. «Где твои ябеды, кляузы, крючки, взятки?»

Члены Исполнительного Комитета понемногу собирались в зале заседания Совета. Было необходимо отыскать удобное, по крайней мере укромное место для работы Исполнительного Комитета. Я наметил для этого комнату № 13, кабинет председателя бюджетной комиссии, разделенный портьерой пополам. За портьерой, где был стол, кресла, телефон, можно было заседать; переднюю же часть отвести под секретариат и строжайше воспретить вход посторонним. Я написал в этом смысле записку и повесил ее на двери из залы советских заседаний в комнату № 13... Эту записку я видел потом висящей в течение многих недель, когда Исполнительный Комитет уже давно перешел в другое место: на записку тогда, очевидно, так же мало обращали внимания, как и во время заседаний Исполнительного Комитета в этой комнате за занавеской, куда непрерывно ломилась толпа по делам «чрезвычайной важности», ломилась, прорывая фронт часовых и пресекая всякую работу Исполнительного Комитета.

Выдворяя посторонних из реквизируемого мною помещения, я увидел в советской еще довольно пустой зале М. Горького. Я по обыкновению обрадовался ему и был доволен, что в эти минуты он пришел быть личным свидетелем всего происходящего в Таврическом дворце.

Но Горький был не в духе. Он мрачно и односложно отвечал на вопросы, видимо, удрученный какими-то впечатлениями. Я не добился источников его скептицизма и пессимизма, но ясно: что-то ему очень не нравится во всем происходящем. Он толкнулся было в дверь 13-

й комнаты, но только что поставленный часовой, молодой, с интеллигентным видом гренадер, решительно пресек его попытку, и Горький ретировался.

– Знаете вы, товарищ, этого человека? – спросил я часового.

Тот посмотрел внимательно и ответил:

– Нет... А что?

Когда я назвал Горького, впечатление было сильнее, чем я ожидал. Солдат казался ошеломленным, ушедшим в созерцание и в самого себя...

Я много раз потом звал Горького в заседания советских организаций, указывая, что его участие в них в некоторых подходящих случаях имело бы значение не только для него самого. Но Горький оставался более чем равнодушен к моим призывам.

В советских комнатах было еще не видно большинства членов Исполнительного Комитета. Но я заметил несколько знакомых лиц *писателей* из разных партий, которые казались весьма полезными для советских «Известий». Мне хотелось, не теряя времени, принять меры к упорядочению и формированию редакции. В качестве члена литературной комиссии я немедленно пригласил писателей на совещание в комнату № 13. Среди них был левый меньшевик Ерманский, большевик (впоследствии «новожизненец») Авилов, эсер Зензинов и еще несколько человек, не помню кто... Последовала характернейшая сцена.

Было ясно, что теперь, до поры до времени, по крайней мере пока в Совете не образуется определенно выраженного большинства, надо образовать «коалиционную» редакцию, равнодействующую Совета. Но нет! Из совещания не получилось ничего, кроме самой неприятной и самой наивной демонстрации партийного шовинизма.

Б. В. Авилов, отдавая дань большевистским вышибательным традициям, первый составил список редакции. Список этот игнорировал в полной мере как всех присутствующих (вместе со стоящими за ними течениями), так и соотношение групп в Совете и в Исполнительном Комитете; между тем это соотношение групп должна была так или иначе отражать редакция официального советского органа. Авилов предложил список из одних большевиков – с бору да с сосенки.

Настроение немедленно повысилось и обещало провал начинания. Но и другие участники совещания, выражая свое недоумение, кипятясь и возмущаясь, делали практические предложения, немногим уступающие первому в своем шовинизме.

Я лично в этом совещании снял свою кандидатуру в редакцию «Известий» и впоследствии упорно отказывался от этой работы, единственный раз посетив собрание сотрудников «Известий» недели полторы спустя: впереди была организация «Новой жизни» и редакционная работа в ней. Об этом мы в кружке «Летописи» поговаривали еще задолго до революции; вопрос о большой газете с основным ядром «Летописи» был уже поставлен практически; и этой литературной работы, несравненно более интересной, было для меня достаточно...

Из нашего совещания в конце концов ничего не вышло, и вопрос о редакции «Известий» был решен официальными выборами, произведенными Исполнительным Комитетом через два или три дня.

Уже можно было открыть заседание Исполнительного Комитета. Не только, все выборные члены его были в сборе, но собрались и представители партий, которые должны были быть допущены в Исполнительный Комитет с решающим голосом.

Я должен теперь остановиться на составе этого первого Исполнительного Комитета, заложившего основы революции и державшего судьбу ее в своих руках в течение ее первых двух месяцев. Я считаю это тем более полезным, что и состав, и позиция, и роль этого первого руководителя политики революционной демократии большей частью совершенно превратно описываются и еще более превратно толкуются даже теми, кому все это ведать надлежит. Тем же, кто стоял достаточно далеко от тогдашних центров революции, все это просто-напросто совершенно неизвестно.

Член этого самого Исполнительного Комитета (от партии трудовиков) Н. В. Чайковский как-то заявил впоследствии, в период борьбы за коалицию, в одной официальной речи:

– Положение дел запуталось потому, что революция с самого начала стала на ложный путь, а это произошло оттого, что вначале во главе ее стояли большевики.

Так говорил председатель *правого* демократического крыла, и его мнение характерно для всего *будущего* руководящего советского большинства в период коалиции.

Но спросите об этом у большевиков. Они, во-первых, откажутся различать деятельность первого центрального советского учреждения от последующих (до самого октябрьского переворота), а во-вторых, они объявят первый Петербургский Исполнительный Комитет социал-предательским и мелкобуржуазным, соединяя все восемь месяцев, протекшие с марта до октября, в один «соглашательский» и «оппортунистический» период революции.

Ни то ни другое мнение, ни мнение действительных выразителей мелкобуржуазной идеологии типа Чайковского, ни мнение большевиков не имеют ни тени правдоподобия. Деятельность первого Исполнительного Комитета мне предстоит довольно подробно описывать в первых двух книгах моих записок. Но о физиономии этого учреждения может дать понятие и самый его состав, избранный на первом заседании Совета 27 февраля, а затем дополненный представителями партийных демократических организаций.

По избрании Совета в Исполнительный Комитет, как мы знаем, входили прежде всего члены президиума, думские депутаты Керенский, Скобелев и Чхеидзе и секретари Гвоздев, Гриневич-Шехтер, Панков и Соколов, а затем следующие восемь человек (в алфавитном порядке): Александрович-Дмитриевский, Беленин-Шляпников, Капелинский, Павлович-Красиков, Петров-Залуцкий, Стеклов-Нахамкис, Суханов-Гиммер, Шатров-Соколовский.

На первом месте каждого двойного имени здесь указан псевдоним, под которым его владелец был так или иначе известен в общественной или литературной работе и под которым он был избран в Исполнительный Комитет.

Эти «псевдонимы» и «анонимы», как известно, вскоре явились благодарным источником травли руководителей Совета. Буржуазная печать довольно дружно стала играть на том, что демократией, а затем чуть не Россией правит неизвестно кто, какие-то, быть может, весьма темные и, во всяком случае, никому не известные лица, стоящие за спиной советской массы. Прием не новый и хорошо испытанный шакалами реакции! Во время Парижской коммуны то же самое проделывала версальская пресса с «анонимами», с «центральным комитетом» федеральных батальонов...

Наша почтенная пресса «обеих столиц» отмечала все неприличие псевдонимов, сокрытие имен и такого безответственного положения людей, взявших на себя огромное и ответственное общественное дело. По существу, эти указания были совершенно правильными. Но в основе такого положения дел не было решительно никакого злого умысла со стороны членов Исполнительного Комитета. Партийные клички и литературные псевдонимы при царском режиме вызывались очевидной необходимостью. После революции они в первое время были в ходу по той простой причине, что их так или иначе *знали* в более или менее широких кругах, а официальных имен из паспортов часто решительно никто не знал.

Что касается желания *укрыться* за псевдонимами, то, может быть, в самый первый момент кем-либо и руководило чувство осторожности перед лицом возможного разгрома революции в ближайшие же дни или часы. Но, конечно, главным стимулом и здесь была застарелая привычка каждого называться знакомым псевдонимом в каждом общественном деле. А затем, в последующие дни, заниматься этим пустяком просто никому не приходило в голову. Всем было совершенно не до того, и никто не видел никакого интереса в том, чтобы афишировать свои имена и во всеуслышание сообщать о себе сведения, хотя бы в пределах старого полицейского паспорта.

Но я свидетельствую, что никто никогда *не скрывал* активно своих официальных имен. Кто ими интересовался, всегда мог узнать и опубликовать любое имя. В тот же момент, когда грязная игра на этом буржуазно-бульварной прессы обратила на себя внимание, все имена вместе с псевдонимами были опубликованы в «Известиях» по постановлению Исполнительного Комитета. Дело-то, однако, в том, что правые газеты того времени *именно для этой игры* сознательно хранили эту видимость закулисных тайн в советских организациях; они на деле совершенно не интересовались нашими именами.

Здесь следует отметить, в частности, «модус», усвоенный буржуазно-бульварными *журналистами*, издававшими в первые дни, когда не было другой прессы, вышеупомянутый листок под названием «Известия». Эти господа, конечно, всецело предоставили себя в распоряжение думского комитета, служили рупором «Прогрессивного блока», подбирая информацию в критический момент самым тенденциозным способом, бегая за всевозможными нечленораздельными представителями правого крыла, рекламируя их напропалую, как соль земли и первых носителей знамени революции; все же левое крыло, всю *советскую* деятельность, советские организации и, в частности, советских руководителей эти слуги бульвара и толстой суммы совершенно игнорировали, а скорее *бойкотировали*, ограничиваясь самыми необходимыми сведениями, без которых нельзя было выйти газете... Всю перспективу событий, все существовавшие отношения они, конечно, совершенно этим исказили, а потом в созданной ими же картине искали материал для помоев и бесчестной борьбы против Совета и демократии...

В описываемое утро к перечисленным выборным членам Исполнительного Комитета присоединились представители партий. Они явились не все сразу; некоторые приняли участие в заседаниях только на другой день, а иные – через несколько дней, не помню в точности, когда именно. Но большинство было налицо уже 28 февраля.

Это были большевики Молотов-Скрябин, а затем Сталин-Джугашвили, бундисты Эрлих и Рафес, через несколько дней замененный Либером, меньшевики Богданов и Батурский, трудовики Брамсон и Чайковский (которого заменил Станкевич), эсеры Н. С. Русанов и В. М. Зензинов, энесы А. В. Пешехонов и Чернолуцкий, социал-демократ «междурайонец» (организация, впоследствии слившаяся с большевиками) И. Юренев, от латышской социал-демократии неразлучные Стучка и Козловский.

Может быть, я кого-либо и пропустил, а также, может быть, и несколько прибавил в том смысле, что представители народнических партий в полном составе собирались в заседание крайне редко и правое крыло Исполнительного Комитета не было так сильно, как может дать впечатление простой перечень приведенных имен.

Теперь надо сказать о самом существенном – о соотношении течений внутри первого Исполнительного Комитета. Несмотря на то что при выборах его членов на первом заседании Совета никак нельзя отрицать солидной доли случайности, все же надо отметить здесь следующее обстоятельство: «*выборная*» часть Исполнительного Комитета была гораздо более *левой* и *состояла в своем подавляющем большинстве из представителей циммервальдского течения*. Правую же, оборонческую часть, не имевшую значительного веса вначале, но получившую впоследствии руководящее значение в революции, составляли представители *партий*, командированные в Исполнительный Комитет их центральными учреждениями.

Что касается президиума, входившего в состав Исполнительного Комитета, то Керенский немедленно оторвался от Совета, улетел в правое крыло дворца, а затем сменил Таврический дворец на Мариинский и на Зимний; появляясь в Исполнительном Комитете лишь в особых случаях (всего два-три раза), он в его работе совершенно не участвовал. Члены же думской социал-демократической фракции, вошедшие в президиум, Скобелев и Чхеидзе в течение первого периода революции упорно занимали позицию самого типичного и непроходимого болота, а впоследствии, с образованием прочного, эсеровски-оппортунистического, мужицко-

солдатского большинства, они пошли на поводу у его фактических лидеров. Об этом речь будет дальше.

Из остальных двенадцати членов Исполнительного Комитета, избранных в ночь на 28 февраля, четверо – Гриневич, Капелинский, Панков (рабочий) и Соколовский – были членами меньшевистской организации и принадлежали к ее левому, циммервальдскому, крылу, возглавляемому Мартовым; все четверо вошли впоследствии в обособленную группу меньшевиков-интернационалистов.

К этим четверым вполне примыкали и во всех политических вопросах, стоявших перед Исполнительным Комитетом, составляли с ними единую группу Соколов, Стеклов и Суханов, бывшие тогда (организационно) вне всяких фракций. Из них впоследствии Соколов примкнул к руководящему «соглашательскому» большинству, оставаясь на его левом крыле. Стеклов после долгих шатаний по группам между оборонцами и большевиками с октябрьской победой большевиков примкнул окончательно к ним. Я же вошел формально в группу меньшевиков-интернационалистов в мае, вскоре после приезда из-за границы Мартова, незадолго до первого (июньского) советского съезда.

Перечисленные семь имен составляли уже *большинство* выборных членов. К ним едва примыкал Павлович-Красиков, ставший формально большевиком лишь незадолго до октябрьского переворота. А дальше *налево* шли большевики Шляпников и Залуцкий и, наконец, эсер Александрович.

Правую Исполнительного Комитета из «*выборных*» представлял один махровый оборонец Гвоздев. Но он составлял одну группу с большинством *партийных* представителей, питавших главным образом *правую* Исполнительного Комитета. Однако и тут на правых народников и меньшевиков (с бундовцами) приходилось двое большевиков, двое латышей и один «междурайонец».

В результате *циммервальдским* течениям в первом Исполнительном Комитете было бы обеспечено совершенно прочное и устойчивое большинство. Однако на другой же день, 1 марта, состав его был разбавлен представителями вновь образованной солдатской секции Совета в количестве девяти человек. В огромном большинстве своем эти люди не имели определенной политической физиономии и при первых шагах революции представляли собой болото. При образовании эсеровского большинства большая часть их примкнула к нему, тяготея к «крестьянской партии»... Вначале же эти девять солдат делали зыбкой почву под *левым* большинством, но центра тяжести Исполнительного Комитета они не *перемещали* и физиономии его не изменяли.

Как и в чем именно проявлялись *течения* внутри первого Исполнительного Комитета, об этом будет речь в дальнейшем, при описании его работы вообще и, при обсуждении в нем отдельных вопросов в частности. Но надо сказать, предвосхищая дальнейшее изложение, что в первые недели революции борьба партий в Исполнительном Комитете проявлялась сравнительно *слабо*, а течения сформировались, и линии их разошлись *далеко не сразу*.

На первых порах, когда большую часть времени приходилось отдавать борьбе с остатками царизма и закреплению революции. Исполнительный Комитет работал замечательно дружно, и при голосованиях, а также и при выборах в разного рода комиссии комбинации голосующих и кандидатов были часто совершенно случайны и крайне прихотливы.

Бросается в глаза еще одно свойство первого Исполнительного Комитета: он был довольно жалок по своему личному составу. В первые недели революции в него не входил ни один из признанных лидеров социалистических партий и будущих центральных фигур революции. Одни из них были в ссылке, другие – за границей.

Впрочем, в скором времени руководителям Исполнительного Комитета, начинавшим революцию, пришлось оказаться в меньшинстве и перейти в оппозицию. Руководящие роли были уступлены старым и заслуженным лидерам партий. Но это были уже представители *иных*

течений, повернувшие по-своему советскую политику. Сомнительно, что революция что-либо выиграла, сменяв скромных кукушек на блестящих ястребов...

Заседание Исполнительного Комитета открылось уже около 11 часов. У меня осталось такое впечатление, что его работа в первые дни была почти непрерывной во все часы суток. Но что это была за работа! Это были не заседания, а бешеная изнурительная скачка с препятствиями...

Порядок дня был установлен примерно так, как это было указано выше, в соответствии с неотложными нуждами момента. Но не могло быть и речи ни в это заседание, ни в ближайшие дни вообще о выполнении какой-либо программы работ.

Через каждые 5-10 минут занятия прерывались «внеочередными заявлениями», «экстренными сообщениями», «делами исключительной важности», «не терпящими ни малейшего отлагательства», «связанными с судьбой революции» и т. д. Все эти внеочередные дела и вопросы поднимались большей частью самими членами Исполнительного Комитета, которые получали какие-нибудь сведения со стороны, либо были инспирированы людьми, осаждавшими Исполнительный Комитет. Но сплошь и рядом в заседание врываются и сами просители, делегаты, курьеры всевозможных организаций, учреждений, общественных групп и просто близ находящейся толпы.

В огромном большинстве случаев все эти экстренные дела не только не стоили перерыва работ, но не стоили вообще выеденного яйца. Правильное выполнение намеченной программы Исполнительного Комитета было бы, конечно, несравненно важнее для хода революции, ибо она и составлялась применительно к основным нуждам момента. Через несколько дней я лично начал упорную (но довольно бесплодную) борьбу с этими внеочередными делами, бывшими явным бичом работы. Но в первые дни эта борьба была бы не только бесплодна, а и рискованна ввиду совершенно непредвиденных опасностей, отовсюду грозивших перевороту и требовавших немедленного вмешательства авторитетных органов демократии.

Я не помню, чем занимался в эти часы Исполнительный Комитет. Помню только невообразимую кутерьму, напряжение, ощущение голода и досады от «исключительных сообщений». Никакие преграды не действовали.

Один журналист, правый социал-демократ (кажется, из «Дня») предложил взять на себя секретарские обязанности и утвердился было в первой половине 13-й комнаты, сдерживая напор посетителей и пытаясь разбирать их требования. Но из этого ничего не вышло. Вскоре он сбежал, и в первый день Исполнительный Комитет не имел никакого подобия делопроизводства.

Не было порядка и в самом заседании. Постоянного председателя не было. Чхеидзе, исполнявший потом председательские обязанности почти бессменно, в первые дни довольно мало работал в Исполнительном Комитете. Его ежеминутно требовали или в думский комитет, или в заседания Совета, а больше всего «к народу», к толпе, непрерывно стоявшей и сменяющейся перед Таврическим дворцом. Он говорил, почти не переставая, и в Екатерининской зале, и на улице то перед рабочими, то перед воинскими частями. Едва успевал он вернуться в заседание Исполнительного Комитета и раздеться, как врвался делегат с категорическим требованием Чхеидзе, иногда подкрепляемым даже угрозами, что толпа ворвется. И усталый старик, сонный грузин, с покорным видом снова натягивал шубу, надевал шапку и исчезал из Исполнительного Комитета.

Не было еще и постоянного секретаря, и не велось никаких протоколов. Если бы они велись и сохранились, то за эти часы они не содержали бы никаких «мероприятий» и «государственных актов». Они не отразили бы ничего, кроме хаоса и «внеочередных сообщений» о всевозможных опасностях и эксцессах, с которыми мы не имели средств бороться. Сообщали о грабежах, пожарах, погромах, приносили погромные черносотенные листки, увы, написанные от руки и весьма малограмотные... Мы делали распоряжения, не рассчитывая, что они

будут исполнены, посылали охранительные отряды, не надеясь, что они действительно сформируются и сделают свое дело.

Не помню, кто председательствовал на этом заседании, был ли вообще председатель... На письменном столе бывшего председателя бывшей бюджетной комиссии откуда-то появились оловянные кружки с чаем, краюха черного хлеба, еще какая-то еда. Кто-то о нас позаботился. Но еды было мало, или просто приступить к ней было некогда. Ощущение голода осталось в памяти...

В соседней зале становилось шумно. Собирался Совет, причем в комнату № 12, конечно, просачивались всякие элементы, желавшие приобщиться к революции... Ни мандатная комиссия, расположившаяся в комнате № 11 ни часовые, ни добровольцы церберы не могли ничего поделывать с толпой, ломившейся с улицы во дворец, и из Екатерининской залы все считали, что их место в Совете.

Членов Исполнительного Комитета ежеминутно вызывали всевозможные делегаты от самых неожиданных организаций и групп, требовавших допущения их в Совет рабочих депутатов. Все хотели быть участниками переворота и слиться с основным ядром революционной демократии. Приходили почтово-телеграфные чиновники, учителя, инженеры, земские и городские служащие, представители врачей, адвокатов, «офицеров-социалистов», артистов, и все считали, что их место в Совете.

Несомненно, более сознательные представители буржуазной интеллигенции тяготели и тянули направо, в сторону *думского комитета*. Эти элементы, несомненно, чувствовали, что Совет рабочих депутатов – это источник «двоевластия», быть может, «анархии» и лишь «помеха» в завоевании «свободного» строя, который взяли насадить Гучков и Милюков.

Но интеллигентские *массы* охватил революционно-демократический энтузиазм; все обыватели и бывшие люди, как в 1905 году, мгновенно стали «социалистами», и среди них образовалась непреодолимая стихийная тяга к Совету... Как характерный симптом здесь стоит вспомнить хотя бы те фимиамы, которые в первом же вышедшем номере «Речи» воскурил в честь Совета махровый монархист Е. Н. Трубецкой...

Популяризации Совета, конечно, способствовало и то, что фактическая власть или, вернее, реальная сила находилась в *его* руках, поскольку какая-либо власть тогда вообще существовала. И это было ясно каждому обывателю.

Формально власть принадлежала думскому комитету, который проявлял немалую деятельность, который быстро распределил ведомства и функции между депутатами «Прогрессивного блока», плюс «прогрессисты»¹³ и, что крайне характерно, плюс *трудовики* (Дзюбинский, Вершинин и др.). Кроме того, думский комитет в течение ночи и дня 28-го успел издать целый ворох декретов, назначений, распоряжений, воззваний. Но это была лишь бумажная или, если угодно, «моральная» власть; она имела авторитет для всех «государственных» и «благomyслящих» элементов; она служила довольно надежным прикрытием от царистской контрреволюции; но она в эти часы кризиса, в часы конвульсий еще совершенно не могла *управлять государством*. И в частности, она не имела никакой реальной силы для очередной технической задачи – водворения порядка и нормальной жизни в городе.

Если кто-либо располагал для этого средствами, то это был Совет рабочих депутатов, который начинал овладевать и располагать рабочими и солдатскими массами. Всем было ясно, что в распоряжении Совета находятся все наличные (какие ни на есть) рабочие организации, что от него зависит пустить в ход стоявшие трамваи, заводы, газеты и даже водворить порядок, избавить обывателя там и сям от эксцессов при помощи формировавшихся дружин.

Несомненно, если «сознательные» буржуазно-интеллигентские группы были всецело на стороне единовластия думского комитета, то *нейтральная* интеллигентская обывательщина

¹³ Партия прогрессистов, как известно, незадолго до переворота выделилась из «Прогрессивного блока»

и весь третий элемент тяготели тогда к Совету депутатов. И представители их, не разбирая никаких прав и норм представительства, ломались в залу заседаний...

Я лично принял в этот день длинный ряд такого рода делегаций и, не имея для руководства никакой конституции, не имел ни сил, ни оснований отказать в допущении в Совет всякого рода делегатам, горевшим первым революционным жаром. Другие члены Исполнительного Комитета и сама наша мандатная комиссия поступали так же. И в результате через несколько дней число членов Совета достигло гомерической и абсурдной цифры, чуть ли не 2000 человек. Это причинило немало забот, затруднений и неприятностей Исполнительному Комитету, которому надлежало установить правильную организацию Совета и правильное *представительство* в него...

Надо отметить и другую характерную черту. А именно мне, члену Исполнительного Комитета, до сих пор совершенно неизвестно, чем занимался *Совет* в течение этого дня. И неизвестно потому, что я не интересовался этим ни в те часы, ни после. Не интересовался же я потому, что было очевидно: вся практическая центральная работа легла на плечи Исполнительного Комитета. Совет же в этот момент в данной обстановке, при данном его количественном и качественном составе был явно неработоспособен, даже как парламент, и выполнял лишь *моральные функции*.

Исполнительный Комитет должен был самостоятельно выполнить и всю текущую работу и осуществить государственную программу. Провести через Совет эту программу было очевидной формальностью, во-первых, а во-вторых, эта формальность была нетрудной, и никто о ней не заботился. Такое сознание незаметно, но быстро проникло во всех членов Исполнительного Комитета, и мы отдались своей работе, почти не обращая внимания на то, что делалось в соседнем зале. Кого-то отослали для «представительства» и руководства, кажется Соколова. Остальные же почти в полном составе выходили из-за занавески и из комнаты № 13 к толпе, к делегациям по разным текущим делам, от которых голова шла кругом, но не в заседание Совета. Через его залу проходили, но в ней не задерживались...

– А что в Совете? – спросил я, помню, какого-то вошедшего за занавеску.

Тот безнадежно махнул рукой:

– Митинг! Говорит кто хочет и о чем хочет...

Мне случилось несколько раз проходить через залу заседаний. Вначале картина напоминала вчерашнюю: депутаты сидели на стульях и скамьях, за столом, внутри «покоя» и по стенам; между сидящими в проходах и в концах залы стояли люди всякого звания, внося беспорядок и дезорганизуя собрание. Затем толпа стоящих настолько погустела, что пробраться через нее было трудно, и стоящие настолько заполнили все промежутки, что владельцы стульев также бросали их, и весь зал, кроме первых рядов, стоял беспорядочной толпой, вытягивая шею... Через несколько часов стулья уже совсем исчезли из залы, чтобы не занимали места, и люди стояли, обливаясь потом, вплотную друг к другу; «президиум» же стоял на столе, причем на плечах председателя висела целая толпа взобравшихся на стол инициативных людей, мешая ему руководить собранием. На другой день или через день исчезли и столы, кроме председательского, и заседание окончательно приобрело вид митинга в манеже...

Говорили о том, чтобы перенести Совет в зал думских заседаний. Но там, на хорах, были арестованные охранники и «фараоны».

Когда на четвертый или на пятый день их перевели в более подходящие места или распустили по домам, то Совет уже так разросся, что Белый зал не мог вместить его в полном составе: там происходили лишь заседания солдатской и рабочей *секций* Совета.

Раза два или три я заглядывал в Военную комиссию, едва пробираясь сквозь густую толпу, заполнявшую весь дворец. Исполнительный Комитет в полном составе, конечно, не мог присутствовать в Военной комиссии и отрядил туда трех своих представителей, обязав их там

работать и наблюдать. В числе их был и я, но я не удержался там, отвлекаемый другими делами и свалив на других Военную комиссию.

Ее помещение было набито битком. Теперь в большинстве были *офицеры* разных частей, толпившиеся в праздности и не зная, что делать, но сохраняя деловой, торжественный и боевой вид. В недрах помещения за столом по-прежнему бесменно сидел Филипповский, а около него Пальчинский, Мстиславский, Добраницкий. По-прежнему их дергали во все стороны, а они распоряжались без надежды на результаты своих распоряжений.

Командный состав возвращался к полкам, возвращался компактными пачками. В этом были признаки улучшения ситуации. На огромную часть возвращавшихся офицеров, различных прапорщиков можно было рассчитывать при столкновении с царскими войсками. Но дело в том, что *полки не возвращались* к командному составу и не становились под начало офицеров. *На солдат* нельзя было рассчитывать, и в этом смысле улучшения не было.

Однако в общем положение не только улучшалось, но становилось очевидным, что опасность разгрома революции рассеивается как дым с каждым часом и что победа ее обеспечена. Новые полки приходили и приезжали в Петербург один за другим; и те из них, которые под командой офицеров шли с агрессивными намерениями, или расплылись, или переходили к народу и становились безопасными для революции при первом малейшем прикосновении к красной столице. Здесь было спасение – в отсутствии сил у царизма, рассыпавшегося как карточный домик. У революции же реальной военной силы по-прежнему еще не было и не появлялось.

Сообщили, что солдаты, составлявшие гарнизон Адмиралтейства (где отсиживались царские министры), наскучив долгим неопределенным положением, пораздумав как следует, в интересах безопасности разбрелись кто куда попало. Министров же одного за другим (также, пожалуй, в интересах их безопасности) стали свозить в Таврический дворец.

В одно из моих посещений правого крыла часу в четвертом я наткнулся в начале правого коридора, у кабинета Родзянки, на группу арестованных царских сановников. Они стояли у стены, сбившись в тесную кучу, окруженные вооруженными людьми. На них наседали толпа довольно агрессивно настроенных солдат, бросавших враждебные замечания. Волком смотрел Курлов. Он был бледен, но, видимо, владел собой, озираясь и прислушиваясь к замечаниям не то с большим интересом, не то с вызывающим видом... Зато крайне неприятное впечатление производил Штюмер, с видом виноватой собаки, с дрожащей челюстью, в полной панике и растерянности. Других вчерашних вершителей судеб я в лицо не знал, и кто это были, не помню.

Их надо было отвести в министерский павильон, пройдя довольно длинный путь сквозь враждебную и притом вооруженную толпу. Рассчитывать на безопасность пленников было можно, но обеспечить ее было никак нельзя: охрана конвойных, самочинно арестовавших и доставивших ненавистных правителей в Таврический дворец, была совершенно ненадежна. Отряд все же тронулся.

Во главе его оказался мой знакомый «прапорщик», бывший сотрудник «Современника» и будущий член Исполнительного Комитета и будущего Центрального Исполнительного Комитета, трудовик педагог Знаменский, обладавший неожиданно огромным голосом.

– Не смей трогать! – крикнул он, открывая шествие, во все свое могучее горло.

Толпа расступилась и послушно стала по сторонам, злобно поглядывая на невиданную арестантскую партию... Она была благополучно доведена до министерского павильона, а потом до Петропавловки.

Я подумал о том, что труднее будет уберечь Сухомлинова, о котором постоянно спрашивали в толпе и против которого возбуждение было особенно сильно. Но и Сухомлинова убергли от самосуда и от участи Духонина...

Я побежал дальше.

Было необходимо обслужить одну важнейшую отрасль возникающего советского хозяйства – типографию. Еще накануне вечером В. Д. Бонч-Бруевич при помощи каких-то добровольческих сил занял типографию «Копейки» на Лиговке, где и были выпущены «Известия». Это одна из лучших типографий в Петербурге, которую надо было удержать для Совета на эти дни. Бонч-Бруевич поставил там кое-какую охрану, собрал кое-каких рабочих. Но не было ни *бюджета*, необходимого для заработной платы, ни *продовольствия*, ни *безопасности*, Рабочие разбежались, и Совет в решающий момент мог оказаться без основного орудия воздействия на население.

В Исполнительный Комитет Бонч-Бруевич сначала прислал записку, составленную в самых решительных выражениях, а затем явился и сам с требованием обеспечить типографию денежными средствами, продовольствием и вооруженной охраной. Меня отрядили устроить это дело с Бончем, и мои хождения по этому делу могли бы дать понятие об условиях работы в Исполнительном Комитете в эти первые часы революции.

Бюджета и денежных средств не было никаких, но они *должны были быть*, и я дал Бонч-Бруевичу *carte blanche*¹⁴ по части условий с рабочими. Но надо было снабдить типографию провизией на сто человек рабочего персонала и охраны, с тем чтобы рабочие были при типографии неотлучно. Это было необходимо, по словам Бонч-Бруевича, утверждавшего, кроме того, что на «Копейку» готовится вооруженное нападение со стороны черной сотни.

Дело снабжения продуктами надо было передать в продовольственную комиссию. Но кого послать? А если найдется доброволец, то где ручательство, что он добьется до цели, что его послушаются, что дело будет обеспечено?.. Не было бланков для требований, не было известно, к кому именно обратиться. Было сомнительно, известны ли имена членов Исполнительного Комитета и убедительно ли будет самое его имя для тех, кто поставлен продовольственной комиссией фактическим исполнителем нарядов? Имеется ли, наконец, в наличности провизия и средства переправить ее?.. Во всяком случае, приходилось идти самому – оставить на неопределенное время заседание и, работая локтями что есть сил, продираться сквозь непролазные толпы по бесконечным коридорам, со сквозняками, с полом, покрытым скользкой жижей, к складам провианта, заготовленного во дворце продовольственной комиссией.

Больше всего мне отравляло сознание неправильно употребляемого и безвозвратно расходимого времени. Но утешала мелькавшая мысль, что иначе и нельзя, что иначе и быть не могло...

После долгого мучительного странствования я добрался до помещений близ кухни, где осаждаемый толпой неизвестный человек удовлетворял требования на продукты по собственному усмотрению и разумению. После многих попыток привлечь его внимание, после бесконечных увещаний, просьб, которыми дергали «продовольственника» со всех сторон, среди окружавшего вавилонского столпотворения я добился выполнения моего наряда, но... за счет моих собственных транспортных средств. Я получил лишь «ордер» и заявление, сделанное уже раньше афинянами Ксерксу в ответ на его требование «земли и воды». Мне было заявлено: «Приди и возьми». Перед лицом нескольких пудов груза я явно рисковал оказаться в положении Ксеркса.

Еще по дороге, услышав в толпе случайный разговор, я остановил незнакомого мне, но любезного человека, говорившего о том, что в его распоряжении имеется автомобиль. Я сагитировал его, убедив его в крайней необходимости обслужить дело печати, и он обещал доставить в типографию продовольствие. Мы условились, что он будет ждать меня в определенном месте, куда я должен принести ему ордер через неопределенное время... Все это было почти безнадежно в атмосфере давки, неразберихи и всеобщей издерганности массой огромных впечатлений и мелких дел. Но это был единственно возможный способ работы.

¹⁴ Свободу действий (франц.)

Не знаю, блуждал я час или больше. Но как это ни странно, я все же нашел этого человека в условленном месте, вручил ему ордер, и он взялся выполнить дело, захватив с собой в автомобиль для охраны двух-трех вооруженных людей... Вопрос теперь был только в том, хватит ли у него терпения добиться чего следует по ордеру, найдет ли он на месте свой автомобиль и не случится ли чего по дороге. Как это ни странно, но продовольствие было в конце концов доставлено в типографию...

Но Бонч-Бруевич не ручался за нее без надежной охраны человек в 40, при помощи которых он намеревался осуществить в типографии «железную диктатуру» (и, действительно, терроризировал потом чуть не весь квартал, расставив караулы даже с пулеметами)...

Надо было послать отряд, точнее, создать гарнизон для типографии. Эта задача была значительно сложнее.

Я стал продираться в Военную комиссию. В некоторых пунктах цепи часовых не пропускали, отсылая в те пункты, где требовали какие-то пропуска, неведомо кем выдаваемые и предварительно не розданные членам Исполнительного Комитета. Вместе с давкой, голодом, усталостью, сознанием нелепости подобной работы все это мучительно раздражало...

Продравшись с грехом пополам, с великим трудом в недра Военной комиссии, я с не меньшим трудом заставил выслушать себя кого-то из начальствующих лиц, раздираемых на части мелкими, ненужными и неосуществимыми делами. Наконец я сагитировал начальствующее лицо и убедил его в важности моего дела для всего хода революции. Но начальствующее лицо ничего не могло поделать. Оно «приказало» одному из толпившихся офицеров принять начальство над типографским гарнизоном и отправиться туда немедленно, потом «приказало» другому-третьему. Никто не повиновался, ссылаясь на что попало: на специальные миссии, на отсутствие людей, на более важные дела и т. д.

Было ясно: надо агитировать самому, и я принялся за это, махнув рукой на военное начальство, на этот единственный штаб, единственную «реальную силу» революции. После долгих поисков я напал на какого-то поручика или капитана зрелых лет и скромного вида, который согласился быть военным комендантом типографии. Но этот «капитан Тимохин» (из «Войны и мира»), как я немедленно окрестил его, подобно прочим офицерам, не имел решительно никого в своем распоряжении. И было ясно, что собственными силами этот почтенный, но нерасторопный человек никакого отряда себе не добудет.

Теперь, составляя для него отряд, приходилось вести уже не индивидуальную агитацию среди сознательных, а массовую – среди серых и непонимающих. Я счел для себя это дело безнадёжным или, по крайней мере, уже чересчур длительным. Я отправился на поиски Керенского, единственного человека, способного решить дело одним ударом, одним агитационным выступлением перед солдатами в Екатерининской зале... Но надо было, во-первых, его найти, во-вторых, оторвать, в-третьих, сагитировать.

После новых мытарств я нашел его в апартаментах думского комитета, в глубине правого крыла. Там были фундаментальные заграждения, которые пришлось преодолеть, и я добился Керенского, бросавшегося и метавшегося из стороны в сторону в стремлении обслужить и обнять всю революцию и не в состоянии сделать для нее что-либо реальное, а лишь одно «моральное»... Около него тесно сгрудилась толпа из всякой демократии и буржуазии, дергавшая его за пуговицы и фалды и перебивавшая друг друга. Было очевидно, что он в полной власти таких же мелких текущих дел, без малейшей возможности ухватить и обслужить основные пружины стратегической и политической ситуации. Было очевидно, что я нахожусь не только в необходимости, но в полном *праве* занять его своим типографским делом.

Взяв его, как другие, за пуговицу, я изложил ему дело тоном, не допускавшим возражений, не жалея самых громких слов о «судьбе революции». Он вслушался, немедленно согласился, сорвался с места и, расталкивая толпу, помчался в Екатерининскую залу к солдатам держать одну из бесчисленных речей и составлять гарнизон для типографии. Я едва успел ука-

зять ему на «капитана Тимохина», который полетел за ним. Я же оставил их и обратился к дальнейшим очередным делам такого же рода и выполнял их такими же методами.

Потом оказалось, что гарнизон все же был сформирован, и «капитан Тимохин» потом чуть ли не через несколько недель попадался мне в типографии, где он мирно жил и мирно «командовал» гарнизоном, «охраняя» цитадель революции, получая «почти регулярно» удовольствие и благодаря свою судьбу...

Так приходилось работать и выполнять технические функции в первые несколько дней, пока понемногу из ничего не была создана огромная машина и более или менее правильная организация... Уже теперь, перед портьерой, в комнате Исполнительного Комитета и в комнате № 11, где собрались наши жены и домочадцы, жаждавшие участия и требовавшие поручений, уже теперь начали о чем-то трещать откуда-то появившиеся машинки.

Я вернулся в заседание Исполнительного Комитета. Туда продолжали поступать сведения об эксцессах и требования немедленной помощи, содействия, воздействия. Но было все же ясно, что охрана революционного порядка налаживается силами и самодеятельностью районов. Организм города, предоставленный самому себе, так или иначе вырабатывал лейкоциты и, стряхнув с себя кандалы царизма, заживлял сам свои раны, полученные от встряски и борьбы... К тому же насилия и эксцессы происходили почти исключительно по отношению к полиции, ее личному составу и ее учреждениям, а также по отношению к действительным ненавистным врагам народа и революции. Поступавшие истерические заявления о разгроме церквей, дворцов, Академии наук и т. п. оказывались, вообще говоря, фикцией и ложной тревогой.

Советский митинг все еще продолжался, все еще жарко говорили не знаю о чем. Настоящие митинги, на которых появлялись Чхеидзе, Керенский, депутаты правого крыла, происходили во всех концах переполненного дворца и вокруг него, во дворе и сквере, посреди пылевых и молчавших неизвестно чьих автомобилей, солдатских костров, одиноких пушек и пулеметов...

Была в этот день еще такая ложная тревога. Часу в пятом во дворе раздался ружейный выстрел или два, довольно обычное и ныне никого не беспокоящее явление. В набитом битком зале Совета произошла довольно постыдная паника. Мгновенно по тысячной толпе пронеслось привычное: «Казачи!..» Откуда они могли вдруг взяться перед дворцом и почему не слышно ничего похожего на перестрелку, никто себя не спрашивал. Одни депутаты полегли на пол, другие бросились бежать неизвестно куда. Начиналась свалка. Помог Чхеидзе, вскочивший на стол и свирепо прокричавший несколько высокопарно-никчемных слов, усевших и успокоивших толпу.

Я, однако, не был свидетелем этого. Я в это время был в Военной комиссии, где суетился и Керенский. Комната № 41 выходила окнами в сквер, представлявший прежнюю картину беспорядочной чересполосицы солдат, пушек, лошадей, пулеметов и всякого штатского люда. Когда раздалась выстрелы, толпа офицеров и других военных, наполнявшая комнату, не полегла на пол и не бросилась бежать, но признаки паники и смятения были налицо и здесь. Никто не знал, что надо делать, где его место, как защищать революцию и ее цитадель – Таврический дворец.

Никаких сомнений не могло быть: если бы то были действительно казаки или какая-либо нападавшая организованная часть, хотя бы численно до смешного ничтожная, то никакого спасения ниоткуда ждать было нельзя и революцию взяли бы голыми руками.

Любопытен был Керенский, который решительно ничего не мог бы поделать в случае действительной опасности, но который в данной обстановке, пожалуй, сделал все, что было ему доступно. Его поведение в этом инциденте было бы, пожалуй, и правильно, если бы не было немножко смешно. Характерна терминология его выступления (задатки будущего!), которую я с ручательством передаю буквально.

Как только раздались выстрелы, Керенский бросился к окну, вскочил на него и, высунув голову в форточку, прокричал осипшим, прерывающимся голосом:

– Все по местам!.. Защищайте Государственную думу!..

Слышите: это я вам говорю, Керенский... Керенский вам говорит... Защищайте вашу свободу, революцию, защищайте Государственную думу! Все по местам!..

Но на дворе также была паника, все были заняты выстрелами. Никто, кажется, не слушал Керенского или слушали очень немногие. Во всяком случае, никто не шел «по местам» и никто не знал их. А неприятель не показывался, никто не нападал, никто никого не пугал, кроме самих испугавшихся...

Одновременно с Керенским я вскочил на другое окно и из форточки оглядывал, что можно было видеть... Было ясно, что тревога ложная, что выстрелы случайны, вернее всего из неопытных рук рабочего, впервые коснувшегося винтовки. Было смешно и немного неловко. Я подошел к Керенскому.

– Все в порядке, – заметил я негромко, но довольно слышно в наступившей тишине. – Зачем производить панику большую, чем от выстрелов...

Я не рассчитывал на результат этого замечания. Керенский, стоя посреди комнаты, расшвырялся и громко раскричался на меня, нетвердо выбирая слова:

– Прошу каждого... выполнять... свои обязанности и не вмешиваться... когда я делаю распоряжения!..

– Совершенно верно! – услышал я кем-то брошенное одобрителное замечание.

Я усмехнулся про себя и во всеулышание извинился с самым серьезным видом. Дисциплина и организация были нужны как воздух. Имея уши слышати Керенского – хотя бы и смешного, да слышит – и не смеется.

Кто и почему стрелял, мне так и неизвестно... Нет, чувствовалось, что опасности для революции со стороны военных сил царизма уже не было. Острота общего положения смягчалась ежеминутно. Получились сведения, что Москва уже «присоединилась» и переворот уже совершен там при участии гарнизона легко и безболезненно...

Полная победа была почти в руках. Революцию можно было теперь погубить внутри, допустив анархию, дезорганизацию, не справившись с продовольствием. Но чувствовалось, что старым обессиленным врагам уже не разгромить ее.

Россия свободна, самодержавия нет, Петропавловки нет, охраны нет, нелегального положения нет, ничего старого нет, впереди все совсем иное, незнакомое, удивительное – мелькало в голове среди текущих микроскопических и «пошлых» дел, казалось, не имеющих никакого отношения к великой победе народа... Да ведь это все феерия, это все вздор, это все сон – чудилось мгновениями каждому из нас. Не пора ли проснуться?..

Был уже седьмой час второго дня. Толпа в залах стала быстро редеть. Совет расходился, решив на следующий день собраться снова. Ослабевала работа и в Исполнительном Комитете, который начинал довольно быстро таять и явно нуждался в отдыхе.

Продолжать работу без перерыва было невозможно, а обстоятельства позволяли сделать передышку. Стали поговаривать о том, чтобы разойтись до завтра, оставив дежурство. Пока же подошедший Тихонов с некоторыми из моих личных друзей и близких убедили меня пойти пообедать к И. И. Манухину, доктору, вылечившему Горького от туберкулеза на Капри и сохранившему с ним дружеские отношения... На дальнейших страницах мы встретимся с Манухиным не раз. Он жил в двух шагах от Таврического дворца, на углу Сергиевской и Потемкинской. Обернуться, пообедать, можно было очень быстро.

Безграничное радушие Манухина и тягу к революции этого вообще далекого от политики человека в скором времени пришлось испытать на себе целому ряду советских деятелей. В эти же дни он положительно выбивался из сил, чтобы оказать какую-либо помощь, сделать что-либо полезное (или приятное) нам в каторжной работе первых шагов революции... Впо-

следствии его специальностью стало опекание тюремных сидельцев, для которых он забросил свои научные занятия и которых помимо медицинской помощи он благодетельствовал всем возможным в пределах лояльности, необходимой для тюремного врача и представителя Красного Кресла.

Следуя по неисповедимым путям революции, он сначала был благодетелем царских слуг и приближенных, затем большевиков и, наконец, меньшевиков и эсеров, сменявших друг друга в уготованных царем застенках и казематах... Но не только об этом могут вспомнить при имени Манухина иные «контрреволюционеры» и иные большевики...

Отправившись целой гурьбой обедать к Манухину, мы застали у него Горького и еще кое-кого из знакомых от литературы и «Летописи». Горький продолжал быть не в духе. Его впечатления за день не улучшили, а усугубили его мрачное настроение. В течение битого часа он фыркал и ворчал на хаос, беспорядок, на эксцессы, на проявления несознательности, на барышень, разъезжавших по городу неизвестно куда, на неизвестно чьих моторах, и предсказывал верный провал движения, достойный нашей азиатской дикости. Два-три человека из присутствовавших добавляли иллюстраций к той же теме и поддакивали Горькому...

Факты были фактами, и впечатления были верны по существу – в тех пределах, в каких они вызвались этими фактами. Но это были впечатления беллетриста, не пожелавшего идти дальше того, что можно наблюдать глазами, впечатления, подавившие своей силой теоретическое сознание и исказившие все объективные перспективы.

Политические выводы из них были не только вздорны, но просто смешны для меня. Для меня было, напротив, очевидно, что дела обстоят блестяще, что революция развивается как нельзя лучше, что победу теперь можно считать обеспеченной и что эксцессы, обывательская глупость, подлость и трусость, неразбериха, автомобили, барышни – это лишь то, без чего революция *никаким способом обойтись не могла*, без чего все происходящее *теоретически немислимо*, без чего ничто подобное *никогда и нигде не бывало*. Все это было для меня совершенно очевидным.

И, придя голодный и усталый в радостном возбуждении, я пытался возражать лишь в первые минуты, пока не увидел, насколько мое настроение не попадает в тон начавшейся раньше беседы. А затем, пренебрегая направленными в меня стрелами, я упорно молчал, почувствовав нестерпимую скуку и не давая себе труда скрывать ее, предоставляя кому угодно принимать ее за усталость... Вместо торжества победы первая встреча «летописцев» в своем кругу произошла в унынии, депрессии и взаимном непонимании.

Обед был наконец кончен, и я поспешил обратно в Таврический дворец. О ночлеге дома не приходилось думать и сегодня. Мы условились, кто из нас будет ночевать у Манухина, квартира которого с тех пор стала служить для этого постоянно, а затем расстались. Тихонов пошел со мной, чтобы взять какой окажется материал для завтрашнего номера «Известий», выпускать который он должен был вскоре отправиться во владения Бонч-Бруевича, снабженного и рабочей силой, и продовольствием, и «капитаном Тимохиным» с отрядом бравых добровольцев.

Было, вероятно, десятый час. Дворец уже наполовину опустел и был полуосвещен. В полутемной зале Совета сидели и рассуждали часовые и немногие темные штатские фигуры. В комнате № 13 сидели одни обрывки Исполнительного Комитета. Никаких общих вопросов ставить не приходилось, но технических мелочей по-прежнему набралась масса...

Помню, пришел посланный Керенским Иванов-Разумник предлагать свои услуги по литературной части (но тут же исчез и более не появлялся на советском горизонте). Приходили какие-то офицеры каких-то автомобильных частей с предложением организовать автомобильное дело для Исполнительного Комитета; нужда в этом была чрезвычайной, но Исполнительный Комитет пробавлялся милостью частных лиц, в руки которых почему-то попали моторы... Приходили владельцы типографий и газет с мольбами на разорение, с апелляцией к свободе печати и с требованиями пустить в ход их предприятия. Наряду с этим приходили

представители партий – большевики, меньшевики, эсеры с требованиями предоставить партиям право на те или иные типографии, которые они уже присмотрели для партийных газет. Ничего этого сделать было при данных обстоятельствах нельзя. Надо было особый орган, специальную комиссию, которая ведала бы это дело...

Слухов об эксцессах не помню, вероятно, волны взбудораженного города к ночи так же стихали, как то было и в пределах дворца.

Но снова разогрел атмосферу около Исполнительного Комитета возбужденный рассказ ворвавшейся группы солдат о том, что среди революционного гарнизона царит сильное волнение по поводу *приказа Родзянки*: возвращаться в казармы к своим обязанностям и привычным делам и нести обратно взятое оружие.

Не помню, был ли это официальный печатный приказ или ляпсус изустной ораторской деятельности Родзянки за этот бурный день, но ничего хорошего для авторов и вдохновителей приказа из этой бестактности не вышло. Настроение гарнизона в результате ее стало резко ползти налево. Родзянко дал сильный толчок развитию солдатского самосознания, оформлению солдатских лозунгов и солдатской организации. Все это проявилось на следующий день в заседании солдатской секции Совета...

Неудачное выступление Родзянки настолько испортило его собственное дело «контакта» между солдатами и офицерством, что на следующий день полковник Энгельгардт в особом приказе должен был исправлять бестактность своего коллеги, обещая за попытки обезоружить солдат «самые решительные меры, вплоть до расстрела»... Вечером 28-го в Исполнительном Комитете пришлось лишь обещать специально расследовать это дело и поставить солдатский вопрос на очередь в ближайшем заседании Совета.

Агитация против офицерства в это время, хотя и в слабой степени, несомненно, *велась* некоторыми малоразумными левыми партийными элементами. Но гарнизон и без того не доверял им, имея к тому основания. Это не только поддерживало распяленное и возбужденное состояние гарнизона, но грозило ввести эксцессы в систему и послужить источником действительно безудержной анархии. Было необходимо преодолеть стихийный дух протеста, озлобления, мести, опасений за мелькнувший призрак свободы и новой жизни; и было необходимо собрать солдатскую рассеянную по городу пыль в прежние кадры, в прежние организации (за неимением иных), чтобы начать планомерную организованную борьбу за профессиональные солдатские интересы, за гражданскую свободу армии и за действительно новую жизнь.

Вечером 28 февраля до этих спокойных берегов было еще очень далеко... Являлись представители все новых и новых частей, явившихся в Петербург с разных концов тыла. Многие тысячи вновь прибывающих солдат растеклись по городу, теряя свои части и своих офицеров, отыскивая кров и пищу на свой страх и риск. Столица и без того была под риском настоящего голода. Было необходимо остановить этот поток. Но ведь части шли во славу революции, шли предложить ей свое оружие и приветствовать красный Петербург!..

Далеко от конца была буря и среди громадного населения столицы. Боязнь нападений с тыла еще в полной мере владела массами. Новых авторитетных «близких к народу» органов власти еще не было. Самозащита масс и революции носила партизанский характер. Ни старого, ни нового аппарата управления и общественной безопасности еще не существовало. Среди самочинно возникавших организаций возникала неизбежная чересполосица функций и даже конкуренция инициативных групп.

Как раз в эти часы собралась и заседала городская дума, принужденная немедленно сменить городского голову (Лелянова на Глебова) и поставившая на очередь создание городской милиции. Но, конечно, эти старые отцы города и все их мероприятия не могли быть фактором порядка вообще и революционного порядка в частности... Лейкоциты петербургской демократии действовали самопроизвольно и защищали эмбрионы нового порядка по своему усмотрению и разумению.

Самочинные группы одна за другой подносили членам Исполнительного Комитета в течение дня и продолжали делать это сейчас, поздним вечером, написанные ими приказы об арестах как невинных, так и действительно опасных, как безразличных, так и на самом деле зловредных слуг царского режима... Не дать своей подписи в таких обстоятельствах – значило, в сущности, санкционировать самочинное насилие, а быть может, и эксцессы по отношению к намеченной почему-либо жертве. Подписать же ордер означало в одних случаях пойти навстречу вполне целесообразному акту, в других – просто доставить личную безопасность человеку, ставшему под подозрение. В атмосфере разыгравшихся страстей нарваться на эксцессы было больше шансов при противодействии аресту, чем при самой процедуре его. Но я не помню ни одного случая (я даже могу утверждать, что такого не было), когда тот или иной арест состоялся бы *по постановлению* Исполнительного Комитета или по инициативе его.¹⁵

С первого момента революция почувствовала себя слишком сильной для того, чтобы видеть необходимость в самозащите *подобными способами*. Методы самодержавия стали вновь культивироваться лишь впоследствии, при «коалиции», и расцвели невиданно-пышным цветом при большевиках.

Я лично подписал единственный подсунутый мне ордер об аресте за всю революцию. Моей случайной жертвой был человек, во всяком случае достойный своей участи более, чем многие сотни и тысячи. Это был Крашенинников – сенатор и председатель петербургской судебной палаты, высокодаровитый человек и убежденный черносотенец, возможный глава царистской реакции и вдохновитель серьезных монархических заговоров. Он был освобожден через несколько дней. Потом в петербургский период большевистской власти, переехав с Карповки на Шпалерную, я обнаружил, что мы соседи, живем на одной площадке, состоим в единой домово-й организации и ежедневно рискуем вместе скоротать ночные часы во время установленных поголовных дежурств по охране дома. А в московский период большевизма Крашенинников, как я прочитал в газетах, был, не знаю кем и при каких обстоятельствах, расстрелян на Кавказе...

Благодаря деятельности самочинных групп и инициативе новых организаций население министерского павильона все увеличивалось. К вечеру 28-го он был плотно населен несколькими десятками всяких сановников и высших полицейских чинов. К ним присоединили и доктора Дубровина. Иные арестовывались сами, являясь в Таврический дворец и представляясь первому попавшемуся деятелю, или же прося по телефону арестовать их и доставить во дворец. Это было действительно лучше для их безопасности, хотя эти дни не были омрачены самосудом ни над одним представителем гражданской власти, и жертвами собственной свирепости явились лишь несколько военачальников.

Даже особо ненавистный Сухомлинов пережил бури революции целым и невредимым. Между прочим, по собственной просьбе был доставлен в Таврический дворец министр юстиции Добровольский. А в двенадцатом часу описываемого вечера в Екатерининской зале появился и последний опереточно-распутинский временщик Протопопов и робко попросил первого встречного арестовать его. Этим популярным министром интересовались довольно сильно и не раз спрашивали из толпы, где же Протопопов и арестован ли он.

В комнату Исполнительного Комитета по обыкновению торжественно и шумно влетел Н. Д. Соколов.

– Пришла польская делегация, – объявил он, по обыкновению нарушая ход работ. – Она хочет приветствовать русскую революцию в лице Исполнительного Комитета. Необходимо выйти к ней и ответить на приветствие!.. Соколов был тесно связан с польскими кругами (как, впрочем, и со всеми кругами), часто являлся инициатором всяких польских вопросов в Испол-

¹⁵ Впоследствии Исполнительный Комитет постановил арестовать лишь Николая II, когда были получены сведения, что он бежит в Англию. Это единственный известный мне случай в этот период революции

нительном Комитете и всячески опекал их. Я не помню, от каких именно польских групп была делегация, но было несомненно, что сам Соколов и привел ее, вселив в нее непреодолимую жажду приветствовать Исполнительный Комитет и Совет рабочих депутатов.

Налицо было всего три-четыре его члена, всем было некогда, все отказывались от декоративных функций. Но Соколов был неумолим и вытащил меня и еще кого-то в советский полутемный зал, где в это время служители разрушали «покой» стола, готовясь к завтрашнему советскому митингу. Там и состоялся первый торжественный прием...

Работа окончательно затихала. Кто-то вызвался остаться в Исполнительном Комитете до утра и уже укладывался на диван близ телефона. Можно было уходить, и я около часа ночи отправился неподалеку на ночлег в знакомый дом. Тяготила необходимость рассказывать о положении дел жаждавшим новостей и изнывавшим без надлежащей информации знакомым. Но мысль о постели была до крайности соблазнительна...

Я вышел из дворца один. Сквер был уже совершенно пуст. Не помню, стояли ли пушки, пулеметы, но ни их, ни дворца революции уже никто не охранял.

Чувствовалось и верилось, что это уже неопасно. Но все же это было знаменательно. Самое сердце революции было беззащитно. Для охраны его не хватило организации и не выискалось горсти добровольцев.

Я пошел по Таврической и Суворовскому. Голова была занята очередными делами. Весь день я стремился поставить в Исполнительном Комитете на очередь *политическую проблему* — о будущей власти и об отношении к ней революционной демократии. Но это была утопия. Между тем откладывать и запускать это дело было нельзя во избежание существенных осложнений и даже опасностей: каковы *общие тенденции* правого крыла; было ясно, но каковы его *конкретные планы*, было в точности неизвестно. Вопрос о власти надо было упорядочить немедленно. Тот или иной временный революционный статус надо было создать; необходимый демократии временный политический строй надо было установить и его нормы зафиксировать, положив в основу его интересы страны и ее демократического развития, интересы международного социалистического движения и правильно понятые задачи эпохи. Беспокоила мысль о том, что для решения проблемы еще ничего не сделано. Удастся ли завтра поставить ее и правильно разрешить в Исполнительном Комитете? Во всяком случае, я настоял на том, что завтра с утра она будет поставлена на первую очередь. Общее согласие на то было получено. Но каковы будут условия и обстоятельства работы? И как удастся преодолеть неправильные, на мой взгляд, тенденции внутри Исполнительного Комитета и попытки отдельных групп его дать неправильный первоначальный толчок революции?..

Днем 28-го вышло прибавление к № 1 «Известий», в котором был напечатан «манифест» большевистского Центрального Комитета. Большевики развернули в этом «манифесте» самую широкую циммервальдскую и аграрную программу и возложили ее выполнение на *временное революционное правительство, долженствующее стать во главе нового нарождающегося республиканского строя*. Что же это за правительство?

«Рабочие фабрик и заводов, а также восставшие войска, — говорилось в „манифесте“, — должны немедленно выбрать своих представителей во Временное революционное правительство, которое должно быть создано под охраной восставшего революционного народа и армии»... Все это было весьма мало вразумительно, но довольно опасно...

С другой стороны, представители *правого* фланга Исполнительного Комитета в частных разговорах настаивали на образовании *коалиционного* правительства из цензовых и советских элементов. Задача, следовательно, состояла не только в том, чтобы *поставить* проблему власти в Исполнительном Комитете, тщательно *разработать* ее там и *отстоять* принятое решение *перед лицом буржуазного мира*, но и в том, чтобы встать на надлежащие рельсы, найти и защитить правильное решение проблемы в *самом руководящем учреждении революционной демократии*.

Я шел по безлюдным улицам, обдумывая проблему по существу. Я впервые остался один и впервые *шел* по свободному городу новой России. Мои деловые рассуждения то и дело пронзались светлыми снопами острой радости, торжествующей гордости и какого-то удивления перед тем необъятным, лучезарным и непонятным, что совершилось в эти дни. Неужели же я не проснусь на моей нелегальной постели, над картой Туркестана, над корректурными гранками «Летописи», залитыми красными чернилами царских цензоров?..

Кое-где нечасто постреливали. Проносились легковые и грузовые автомобили, бог весть откуда и куда. Иногда проходили и стояли у костров группы солдат с винтовками. *Мысль* радостно перебивала привычные *ощущения* нелегального человека – ощущения, заставлявшие инстинктивно сторониться подобных встреч: теперь это друзья, а не враги, опора революции, а не распутинского режима.

Иногда вместе с солдатами или без них встречались штатские вооруженные отряды рабочих и студентов. Это была не новорожденная милиция, а скорее самочинные добровольцы: им так много обязан Петербург быстрым восстановлением порядка и безопасности. Редкие прохожие шли смело и весело, демонстрируя, что на улицах взбаламученного города ночью было действительно безопасно, и черносотенным провокаторам было не под силу создать атмосферу погрома и паники...

Все ли эти встречные люди, все ли эти попадавшие солдатские группы и одиночки были действительно свои? Трудно сказать, но любопытно попробовать. В глухом квартале «Песков», в конце 8-й Рождественской, несколько военных возились около поломанного автомобиля. К ним подходил какой-то патруль.

– Товарищи, слушайте, – закричал я им через улицу.

Все насторожились и смотрели на меня.

– Протопопов арестован и сидит вместе со своими товарищами на запоре в Таврическом дворце.

Из толпы послышались возгласы одобрения и особого удовольствия.

– Спасибо, товарищ! – кричали мне вслед. – Благодарим за приятную новость!..

Да, дело революции было безвозвратно выиграно! Вспоминались солдаты, сдиравшие утром портрет Николая. Николай еще гулял на свободе и назывался царем. Но где был царизм? Его не было. Он развалился одним духом. Строился три века и сгинул в три дня.

В доме, куда я шел, меня уже ждали нетерпеливые хозяева, чай, ужин и постель. Наскоро утолив жадное любопытство, я лег спать. В голове шла своим чередом будничная работа и деловая подготовка к завтрашнему дню. А все существо праздновало великий праздник. И не только панорама будущего, которая мерещилась сквозь «магический кристалл», но и обрывки самых реальных, только что виденных картин заставляли биться сердце, щекотали в горле и не давали спать.

День третий 1 марта

Утром на улицах. – Царский поезд. – Керенский – кандидат в министры. – Проблема власти в Исполнительном Комитете. – Немного публицистики. – Цели буржуазии в революции. – Позиции советской демократии: правое крыло, левое крыло. – Мои соображения на этот счет: смысл «комбинации», условия передачи власти правительству Милюкова. – Расширение и сужение программы слева и справа. – Капитуляция и «неурезанные лозунги». – Условия поединка. – Три основных условия. – Заседание Исполнительного Комитета. – Дело о поезде Родзянки. – Обморок сильнее здравого смысла. – Условия работы. – В апартаментах Гучкова. – Избиение офицеров. – «Градоначальник». – Солдатские делегаты в Исполнительном Комитете. – Вопрос о власти в Исполнительном Комитете. – Вхождение в правительство. – Семь пунктов. – Вопрос о «поддержке». – Эмбрион формулы «постольку-поскольку». – Личный состав правительства. – Заседание Совета. – Солдатские вопросы. – Армия и флот. – Сухомлинов. – «Приказ № 1». – Перед учредительным совещанием. – Ночь на 2 марта. – Обстановка. – Переговоры. – Речи. – Родзянко налево. – Милюков направо. – Монархия и династия в глазах Милюкова. – Лестные комплименты. – Последняя «высочайшая аудиенция» Родзянки. – Прокламация Гучкова. – Мы пишем декларации. – Керенский – министр. – Наборщики делают политику. – Воззвание советских «левых». – Керенский терроризован; Гучков изнасилован; «комбинация сорвана». – Декларация «рокового человека» из Совета. – Роковой человек из «Прогрессивного блока» исправляет ее. – Власть почти создана. – Подвиги «новожизненной» редакции «Известий».

На другой день я подходил в десятом часу к Таврическому дворцу. На улицах стояли обычные хвосты, но было необычное оживление. По углам висели прокламации Исполнительного Комитета и Временного комитета Думы, около которых толпился народ.

В хвостах говорили о том, что подешевело масло. Его таксировала продовольственная комиссия по рецепту Громана, и в течение двух-трех дней таксы действовали недурно, пока торговцы не догадались убрать масло с рынка.

Висели всюду красные или похожие на красные флаги. Со значками и бантами разного фасона, по более или менее красными шли группы народа, которые становились все гуще и переходили в небольшие манифестации по мере приближения к Таврическому дворцу. У ворот виднелись знамена, и уже происходило что-то вроде митингов.

Я вошел с бокового крыльца, с Таврической, попадая тем самым непосредственно в чужой лагерь, в правый коридор, во владения думского комитета. Здесь еще сохранялся вид сравнительного благообразия: стояли швейцары в ливреях, чистенькие и важные юнкера охраняли входы из коридора во внутренние помещения комитета, шныряли визитки, бобровые воротники и благообразно-либеральные физиономии. Дворец был уже наполнен и оживлен.

Первый повстречавшийся член Исполнительного Комитета сообщил: царский поезд, направлявшийся в Царское Село, задержан на станции Дно революционными войсками.

Дело ликвидации Романова тем самым было поставлено на очередь. Новость была отличная. Но мне представлялось все это делом второстепенным сравнительно с вопросом об образовании правительства, о создании определенных рамок для его деятельности и об установлении определенного статуса, определенных условий политической жизни и дальнейшей борьбы демократии.

Я даже немного опасался, как бы вопрос о *династии* не вытеснил в порядке дня проблему *власти*, разрешавшуюся совершенно независимо от судьбы Романовых. В этом последнем ни у кого не было сомнений. Романовых можно было *восстановить* как династию или *использовать* как монархический принцип, но их никак нельзя было уже принять за *фактор* создания новых политических отношений в стране.

Между тем, как выяснилось впоследствии, с царем и царским поездом происходило следующее. После известных почтительнейших телеграмм Родзянки в Ставку (от утра 27-го), в коих председатель Думы молил бога, чтобы «ответственность за события не пала на венценосца», в течение всего дня царь, бывший в Могилеве, информировался о положении дел телеграммами каких-то своих уцелевших слуг. Генерал Алексеев, докладывая царю об этих телеграммах, убеждал, как говорят, пойти на уступки, но царь не шел на это без санкции «дорогой Алис», находившейся в Царском Селе.

Около одиннадцати часов 27-го, когда шло первое заседание Совета рабочих депутатов, а думский комитет уже почти покончил со своими колебаниями и был готов взять в свои руки государственную власть, в царской Ставке, в Могилеве, была получена телеграмма из Царского с просьбой немедленно приехать, ибо там беспокойно и царица Александра в опасности. Поезд вышел из Могилева около пяти часов утра и, идя кружным путем на Лихославль и Тосно, подошел к станции Бологое к 12 часам ночи 28-го, когда вместо царских министров действовали уже комиссары думского комитета, когда Протопопов был только что водворен в министерский павильон, а я лично принимал приветствие от иностранной делегации и отвечал ей от имени русской революции.

В Бологом выяснилось, что в Царское проехать нельзя, так как дальнейший путь занят революционными войсками. Доехали до Малой Вишеры, убедились в этом воочию и повернули к Пскову, дав телеграмму Родзянке, чтобы он приехал для переговоров в Дно. В Дне поезд в действительности не был задержан, а ждал Родзянку и, не дождавшись, беспрепятственно двинулся в Псков, куда и прибыл к 8 часам вечера 1 марта.

Я пробрался через весь дворец в комнаты Совета, где уже кипела работа нарождающегося советского делопроизводства. Мне сейчас же подсунули какие-то бумаги, но меня немедленно оторвали от них, сообщив, что меня по экстренному делу ищет Керенский, который был здесь, но сейчас неизвестно где.

Я пустился в обратный путь отыскивать Керенского. Все говорили о царе, спрашивали, что решено с ним сделать, говорили, что *нужно* сделать.

Керенского я застал в одной из комнат думского комитета, в жаркой беседе с Соколовым. Керенский обратился ко мне, продолжая эту беседу. Дело было в том, что большинство думского комитета предлагало ему вступить в образуемый цензовый кабинет. Керенский хотел поговорить на этот счет, между прочим, со мной, чтобы выяснить примерное отношение к этому делу влево стоящих лиц и групп, а также руководящего ядра Совета.

Ни в Исполнительном Комитете, ни в Совете эти вопросы еще не ставились, и говорить об этом было преждевременно. Но мое личное отношение к этому делу я высказал Керенскому тут же с полной категоричностью и имел случай повторить ему мое мнение дважды за эти сутки.

Я сказал, что я являюсь решительным противником как принятия власти советской демократией, так и образования коалиционного правительства. Я не считаю возможным и официальное представительство социалистической демократии в цензовом министерстве. Залож-

ник Совета в буржуазно-империалистском кабинета связал бы руки демократии не только в ее стремлении довести до конца великую национальную революцию, но и в осуществлении ставших перед нею грандиозных *международных* задач... Вступление Керенского в кабинет Милюкова в качестве представителя революционной демократии совершенно, на мой взгляд, невозможно.

Но, продолжал я, если речь идет о личном мнении, то индивидуальное вступление Керенского, как такового, в революционный кабинет я считал бы объективно бесполезным. В ценовом кабинете демократические слои имели бы заведомо левого человека. Это придало бы всему кабинету большую устойчивость перед лицом стихийно ползущих влево масс, а устойчивость первого революционного правительства на ближайший период (исчисляемый хотя бы немногими неделями) я считал крайне желательной. Вместе с тем Керенский мог бы чрезвычайно усилить левое крыло в будущем правительстве и не дать ему зарваться в реакционной или империалистской политике при первых же шагах; это сделало бы неизбежным преждевременный кризис и уничтожило бы основной смысл создания ценового кабинета при реальной силе в руках демократии.

Индивидуальное вхождение Керенского в правительство Милюкова я считал объективно бесполезным. С другой стороны, как говорил я ему тут же, своеобразное положение Керенского делало это вполне возможным. Керенский не связан формально ни с какой социалистической партией и лидирует всего лишь «Трудовую группу», которой нет никакого дела до Интернационала, которому нет дела до нее.

Конечно, Керенского не мог удовлетворить такой ответ... Ему явно хотелось быть *министром*. Но ему нужно было быть *посланником демократии* и официально представлять ее в первом правительстве революции. Он отошел от меня более чем неудовлетворенный. Я же повлек Соколова открывать заседание Исполнительного Комитета, где надо было не откладывая поставить вопрос о власти, об ее программе и об отношении к ней Совета.

Пробираясь через толпу, мы наскоро обменивались с Соколовым мнениями на этот счет. Соколов, видимо, представлял себе дело так, что будет и должно быть образовано коалиционное правительство; но он защищал позицию крайне слабо, явно не продумав еще вопроса, и очень быстро сдался. При систематическом обсуждении и при практическом создании первого кабинета он не был в числе защитников коалиции и голосовал против нее.

Исполнительный Комитет собрался в одиннадцатом часу почти в полном составе. В соседней зале было уже людно и шумно. Памятуя о вчерашней давке, делегаты собирались спозаранку, чтобы занять места. На очереди в Совете стояли главным образом *солдатские вопросы* в связи с позицией, занятой думским комитетом, и в связи со вчерашними выступлениями Родзянки.

Не помню, кого отрядили в Совет для председательства и руководства: этому не придавали большого значения. Но в Исполнительном Комитете приготовились к большой работе по большому вопросу и ожидали первого серьезного столкновения мнений на принципиальной почве.

Кто председательствовал, не помню, но кажется, это был не Чхеидзе, измученный и издерганный бессонницей, непрерывными речами и мелкими делами.

Как же стояла и как, на мой взгляд, должна была быть решена в данной обстановке политическая проблема революции?

Здесь было бы по меньшей мере неуместно предпринимать историко-публицистический, а тем более социологический трактат о *характере и целях революции*, связанной с *ликвидацией царизма*, и о *задачах демократии*, оказавшейся хозяином положения в России в данной национальной, хозяйственной и международной обстановке. Но совершенно очевидно, что решение *политической* проблемы вытекало из предпосылок именно *общего, историко-социологического* свойства наряду с учетом реального соотношения сил и конкретного состояния

национально-хозяйственного организма. Совсем без экскурсий в область общих рассуждений обойтись поэтому нельзя.

Я уже упоминал о тех конкретных обстоятельствах, которые, на мой взгляд, не позволяли демократии, возглавляемой авангардом циммервальдски настроенного пролетариата, взять власть в свои руки и данной обстановке. Эти обстоятельства во избежание провала революции, в целях закрепления победы над царизмом и установления необходимого режима политической свободы заставляли победивший народ передать власть в руки своих врагов, в руки цензовой буржуазии. Но если для каждого последовательного носителя классовой пролетарской идеологии было очевидно, что власть *передается в руки врагов*, то передать ее было можно лишь на *определенных условиях*, которые обезвредили бы врагов.

Надо было поставить цензовую власть в такие условия, в которых она была бы ручной, была бы неспособна повернуть вспять революцию и обратить свое классовое оружие, использовать свое положение против демократии и рабочего класса. Этого мало: необходимо было поставить цензовую власть в такие условия, чтобы она не могла поставить серьезных препятствий необходимому развертыванию и продвижению революции. Словом, если народ сам добровольно выбирал и ставил себе власть, то он, естественно, делал то, что *ему нужно*, а не его классовым врагам, которые, по его соизволению, становились официально во главе государства.

Перед революционной демократией стояла задача сделать попытку *использовать* своих врагов, конечно, для *своих* целей. Народ, став фактическим хозяином положения, в силу особых обстоятельств уступал, отдавал в чужие руки свои определенные *функции*; но он не мог отдать в чужие, враждебные руки *самого себя* и добровольно перестать быть хозяином положения.

Каковы были тенденции, стремления, цели буржуазии, принимавшей власть? Как должна была она стремиться использовать ее? И с другой стороны, какие условия общественно-политической жизни были необходимы для демократии? Это зависело от того, как обе стороны понимали и должны были понимать смысл, цели и ход происходящей революции.

Что касается цензовой России, империалистской буржуазии, *принимавшей* власть, то ее позиция и ее планы не могли возбуждать сомнений. Цели и стремления Гучковых, Рябушинских, Милюковых сводились к тому, чтобы ликвидировать распутинский произвол при помощи народного движения (а гораздо лучше – без его помощи), *закрепить диктатуру капитала и ренты* на основе полусвободного, «либерального» политического режима «с расширением политических и гражданских прав населения» и с созданием полновластного парламента, обеспеченного буржуазно-цензовым большинством. На *этом* цензовая Россия должна была стремиться остановить революцию, превратив государство в орудие своего классового господства, а страну в олигархию капиталистов, подобно Англии и Франции, которые именуется «великими демократиями Запада». Движение, идущее *далее* диктатуры капитала, цензовая Россия, принимавшая власть, должна была стремиться *подавить* всеми имеющимися налицо средствами.

А наряду с этими *общими* целями в революции у нашей буржуазии были особые специальные задачи по обслуживанию национального *империализма*, российской великодержавности в происходящей войне. «Война до конца» и «верность доблестным союзникам» ради Дарданелл, Армении и прочего вздора были необходимыми лозунгами цензовой России. Эти лозунги, конечно, были в кричащем противоречии с развитием революции, и потому революция должна быть остановлена, обуздана, приведена к покорности, покорена под ноги великодержавности. Это дань частному, специфическому проявлению диктатуры капитала.

Вся эта позиция цензовой России, все эти задачи буржуазии, принимавшей власть из рук восставшего народа, не могли внушить сомнений ни одному последовательно мыслящему

марксисту вообще и циммервальдцу в частности. Все это вытекало с железной необходимостью из объективного положения дел.

Другое дело – позиция *советской*, солдатско-крестьянско-рабочей, мелкобуржуазно-пролетарской *демократии*. Ее задачи далеко не так очевидны и весьма спорны. Ее понимание должного хода революции могло быть и было весьма различно.

Ее *правое* крыло (в котором нам интересны не обыватели-народники из народных социалистов и трудовиков, а мыслящие марксисты из лагеря Потресова и компании) утвердилось в мысли, что наша *революция есть революция буржуазная*. Этой мысли наши первые марксисты не оставили до самого своего исчезновения с политической сцены. Как теоретическое положение это *могло бы* быть, вообще говоря, и не особенно вредно.

Но очень вредно было то, что эти группы делали из данного положения логически совершенно необязательные, а фактически совершенно неправильные выводы. А они делали те выводы, что при таком условии все выше отмеченные планы, тенденции, стремления буржуазии вполне *законны*, что установление у нас диктатуры капитала (как «в великих демократиях Запада») есть основная задача нашей эпохи и единственная цель революции, что империализм новой революционной России, а стало быть, и война в единении с доблестными союзниками суть неизбежные и закономерные явления, требующие поддержки демократии, во избежание национальной катастрофы, что рабочий класс и крестьянство в связи с этим должны сокращать свои требования и программы, которые иначе будут «неосуществимы», и т. д.

Все это означало не что иное, как планомерную и сознательную капитуляцию перед плутократией. К этому сводилась вся политическая мудрость, вся программа и тактика потресовско-плехановских групп, а за ними в скором времени поплелись и прочие оборонцы, которых быстро перещегооляли в этом отношении иные циммервальдцы.

Такова была фактическая позиция *правых* элементов Совета, а следовательно, это была одна из возможных позиций *всего* Совета, олицетворявшего всю революционную демократию. Из этой позиции, в сущности, просто вытекала уступка власти Гучкову-Милюкову *без всяких условий* на предмет осуществления ими их либерально-империалистской программы и установления ими у нас «правового» порядка на свой классовый лад и на западный образец.

Противоположную позицию занимало *левое* крыло Совета, его большевистско-эсеровские элементы, а следовательно, было возможно, что Совет в целом займет эту противоположную позицию. В основе ее лежало признание, что в результате мировой войны совершенно неизбежна мировая социалистическая революция и что всенародное восстание в России кладет ей начало, знаменуя собой не только ликвидацию царского самодержавия, но и *уничтожение власти капитала*. При таких условиях революционный народ, в руках которого оказалась реальная сила, должен использовать ее до конца, взять в свои руки государственную власть и безотлагательно приступить к реализации программы-максимум вообще и ликвидации войны в частности. Согласно этому взгляду, цензового правительства вообще быть в революции не должно и ни о каких условиях передачи ему власти речи быть не может...

Надо сказать, что представители таких взглядов были крайне слабы в Исполнительном Комитете – и количественно и качественно. Они лишь глухо «поговаривали» и «пописывали» на этот счет – больше для демагогии и для очистки совести, но они и не думали вступать в сколько-нибудь реальную борьбу за эти принципы ни в Исполнительном Комитете, ни в Совете, ни среди масс.

При обсуждении вопроса эти элементы были почти незаметны; они не выступали с самостоятельной формулировкой своей позиции и при практическом решении вопроса составили единое большинство с представителями третьего течения, к которому примыкал и я.

Мне лично дело представлялось так. Мировая социалистическая революция действительно *не может не увенчать собой эпохи мировой империалистской войны*. Историческое развитие Европы вступает в эпоху *ликвидации капитализма*, и ход нашей собственной рево-

люции мы должны рассматривать при свете этого факта. Культ идеи буржуазной революции в России, культ политического и социального минимализма поэтому не только вреден, но *близорук и утопичен*.¹⁶

Наша революция, хотя и совершенная демократическими массами, не имеет, правда, ни реальных сил, ни необходимых предпосылок для немедленного социалистического преобразования России. Социалистический строй мы создадим у себя на фоне социалистической Европы и при ее помощи. Но о закреплении в настоящей революции буржуазной диктатуры *не может быть и речи*.

Мы должны рассчитывать на такое развитие нашей революции, при котором народные требования могли бы быть развернуты и удовлетворены во всех областях, независимо от рамок, поставленных им современными западными плутократическими государствами. Эпоха ликвидации царизма в России, совпадая с определенной эпохой в мировой истории, при данном характере совершившегося переворота необходимо должна быть насыщена огромным и еще невиданным доселе *социальным содержанием*. Революция, не дав России немедленного социализма, должна вывести *на прямой путь к нему* и обеспечить полную свободу социалистического строительства в России. А для этого необходимо немедленно установить соответственную *политическую предпосылку*: обеспечить и закрепить *диктатуру демократических классов*. В этом – конечная цель начавшегося исторического периода и данного этапа развернувшейся революции...

Каким образом вообще необходимо вести по этому пути нашу революцию – другой вопрос. Но в данный момент, в процессе самого переворота демократия не в состоянии одними своими силами достигнуть этих целей. Империалистская буржуазия должна послужить фактором в ее руках, должна быть *использована ею* для окончательной победы над царизмом, для завоевания и закрепления самого полного и глубокого, действительного демократизма в стране.

Советская демократия должна вручить власть цензовым элементам, своему классовому врагу, без участия которого она сейчас не совладевает с техникой управления в отчаянных условиях разрухи и не справится с силами царизма, с силами самой буржуазии, обращенными целиком против нее. Но эта власть, вручаемая классовому врагу, должна быть *такой властью*, которая обеспечит демократии полнейшую *свободу борьбы* с этим врагом, с самим носителем власти. А условия ее вручения должны обеспечить демократии и полную *победу* над ним в недалеком будущем.

Вопрос, следовательно, заключается в том, *захочет ли* цензовая Россия принять власть при таких условиях. И задача, следовательно, состоит в том, чтобы *заставить ее принять* власть, заставить ее пойти на рискованный опыт как на наименьшее зло.

При выработке *условий* передачи власти, предусматривая немедленную борьбу с буржуазией, борьбу на самом широком фронте, борьбу не на живот, а на смерть и уже открывая эту борьбу (из-за армии), не надо отнимать у буржуазии *надежду выиграть* эту борьбу. Надо остерегаться таких обращенных к ней требований и условий, при которых она могла бы счесть опыт нестоящим и обратиться к другим путям закрепления своего классового господства.

Надо стараться всеми силами не сорвать комбинацию. И в соответствии с этим ограничиться *минимальной*, действительно необходимой программой.

От этой «комбинации» требовалось лишь одно: создать такие условия политической жизни, при которых демократия могла бы немедленно (по установлении их) развернуть свою программу в области внутренней, внешней и социально-экономической политики. Этого было

¹⁶ Об этом я написал статью, направленную против московского потресовского журнала «Дело», для февральского номера «Летописи». Но этот номер не успел выйти до революции. Написанная ультразоповским языком, чтобы «не понял цензор» (а вместе с ним, конечно, и львиная доля читателей; да, так и работали) статья была пропущена цензурой. Но, понятно, ее в таком виде уже нелепо печатать после революции, и она доселе лишь в гранках хранится у меня.

достаточно, чтобы обеспечить правильный дальнейший ход революции. Более ни для чего участия буржуазии не требовалось, и ни на какое иное «использование» она более не пошла бы.

Какие же именно конкретные условия передачи власти могли создать такого рода статус, необходимый для революции и демократии? То есть на каких же именно конкретных условиях должна быть вручена власть правительству Милюкова?

В сущности, таким условием я считал только одно: *обеспечение полной политической свободы в стране, абсолютной свободы организации и агитации ...*

Сейчас, рассуждал я, демократическая Россия совершенно распылена, лишена всяких внутренних скреп, всякой упругости и способности к сопротивлению, сейчас это не живое тело, а песок земной. Но с революцией народные массы будут sprysnuty живой водой и мгновенно возродятся к органической жизни. Демократическая Россия в течение нескольких ближайших недель, несомненно, покроется прочной сетью классовых, партийных, профессиональных, муниципальных и советских организаций. Она сплотится воедино и будет непобедима перед лицом объединенного фронта капитала и империализма. Это одна сторона дела: создание нового тела революционной демократии.

Другая сторона, другая задача состоит в том, чтобы вдохнуть в живое тело надлежащий *живой дух*. Если первая задача будет решена при отсутствии всяких препятствий к *организации* народных масс, то вторая обеспечивается полной свободой *агитации*.

Освобожденные массы, встряхнутые и просветленные великой бурей, охваченные сознанием, что жизнь строится заново, не могут в процессе этого строительства остаться чужды своим исконным лозунгам, своим собственным интересам. Предводительствуемые пролетарским авангардом, стоящим под знаменами Циммервальда, они не могут отдаться в руки помещиков и плутократов, не могут превратить новое государство в орудие их классового господства и капитулировать перед жупелами имущей клики. Лишь бы ничем не стеснялась та лихорадочная работа по просвещению масс, которая немедленно будет развернута передовыми группами демократии, партиями и советами.

Свободу агитации в данной совокупности обстоятельств я считал достаточной для того, чтобы не дать империалистской буржуазии закрепить диктатуру капитала, чтобы не дать затвердеть у нас формам европейской буржуазной республики, чтобы открыть простор дальнейшему движению и углублению революции и в ближайшем будущем привести страну к политической диктатуре рабоче-крестьянского большинства со всеми вытекающими отсюда последствиями...

Я рассуждал при этом так же, как, в сущности, рассуждали большевики несколько месяцев спустя. При образовании одной из «коалиций», когда антидемократический характер власти Керенского уже определился вполне, когда вместе с тем всякая реальная сила коалиции уже иссякала и переходила на сторону большевиков, большевики махнули рукой на правительство Зимнего дворца и, предоставив ему делать, что оно желает, требовали для себя гарантию только одного – *свободы агитации*.

Это основное условие передачи власти буржуазии представлялось мне, во-первых, совершенно *обязательным* без всяких ограничений, а во-вторых, создающим *достаточные* гарантии, закладывающим вполне достаточный фундамент для выполнения всей дальнейшей необходимой программы демократии.

С другой стороны, это условие не могло бы не быть принято противной стороной. Всякие иные требования, несомненно менее важные по существу, могли сорвать комбинацию. На многие и многие из них Милюков и К^о не могли бы пойти перед лицом своего классового, группового, персонального положения, перед лицом всего своего прошлого, перед лицом общественного мнения Европы. Но *этого* требования – не покушаться на принципы свободы – они не могли не принять, если они *вообще* были готовы принять власть в данных обстоятельствах с соизволения советской демократии. Пойти на данный опыт – значило пойти на это условие,

значило поднять перчатку, бросаемую революционной демократией, значило попытаться осуществить свою программу, закрепить свою диктатуру путем единоборства на открытой арене при условии полной политической свободы...

Но этим основным пунктом все же нельзя было ограничить условия передачи власти цензовым элементам. Во-первых (это ясно само собою), была необходима полная и всесторонняя *амнистия*. Во-вторых, революция должна была дать не только хартию вольностей, но и *конституционную форму*, способную воплотить в себе идею народовластия, народной воли и народного права. Надо было санкционировать и закрепить в законных формах работу временного, катастрофического периода и сделать новый статус постоянным, органически развиваемым, углубляемым, доводимым до логического конца. Надо было обеспечить скорейший созыв полновластного и всенародного *Учредительного собрания* на основе демократичнейшего избирательного закона. Тень столыпинской Государственной думы, жаждущей получить какие-то формальные права на революцию, была лишним фактором, заставлявшим немедленно поставить во весь рост идею Учредительного собрания.

Эти три условия: декларация полной политической свободы, амнистия и немедленные меры к созыву Учредительного собрания – представлялись мне абсолютно *необходимыми*, но вместе с тем *исчерпывающими* задачами демократии при передаче правительственных функций в руки цензовой буржуазии. Все остальное приложится.

И я в соответствии с этим вполне сознательно пренебрегал остальными интересами и требованиями демократии, как бы они ни были несомненны и существенны, как бы непременно ни было предрешено их осуществление при сколько-нибудь правильном и удачном ходе революции. Я оставлял в стороне и считал ненужным обуславливать цензовую власть такими несомненными пунктами, как *земля, без которой теоретически немыслима победоносная революция*.

Я считал излишним требовать от этого правительства даже и таких актов, как немедленное объявление республики. В связи с вопросом об образовании власти меня не интересовала судьба Романовых. Я был убежден (и высказывал это), что республика, как и земля, в руках у демократии, что они обеспечены «стихийным ходом вещей», если только путем «использования» буржуазии, при помощи кабинета Львова – Милюкова удастся благополучно завершить переворот, ликвидировать царизм и перейти к новым условиям нашего общественного бытия.

Я считал ненужным и невозможным вводить в цикл требований и еще один пункт: демократическую внешнюю политику – *политику мира* ... Иные потом признавали это ошибочным. И в частности, Мартов, с которым я в общем единомыслил (резко расходясь в отдельных случаях) на всем протяжении революции до сего времени,¹⁷ упрекал впоследствии первый Исполнительный Комитет, что он не обусловил правительства Львова и Милюкова требованием должной «военной политики», а это запутало дело мира в революции. Я решительно не согласен с этим и до сих пор считаю правильной позицию, занятую тогда Исполнительным Комитетом.

Прежде всего, это маниловский теоретический nonsense¹⁸ подходить к Милюкову с требованиями Циммервальда. Что-нибудь одно: либо считать цензовый либеральный кабинет вредным и ненужным для того момента, либо не навязывать ему таких функций, какие противоречат в корне самой его природе и каких он заведомо выполнить не может.

Во-вторых, спрашивается, каковы именно могли быть конкретные требования мирной политики от кабинета Милюкова?.. Их принижение, сужение, сведение к минимуму было бы чрезвычайно вредно со всех точек зрения: это означало бы выставление *урезанных мирных требований перед всем миром в качестве международной программы революции*. Если же

¹⁷ пишу это в октябре 1918 года

¹⁸ бессмыслица (франц.)

Милюкову предложить действительную программу революции, то понятно – этой марки он бы не выдержал и практически его кабинет был бы невозможен.

В-третьих, самый такой метод подхода к образуемой цензовой власти я считал неправильным и вредным. От этой власти требовалось *не соглашение* с революционной демократией на той или иной программе, платформе, а лишь предоставление революционной демократии *свободы действий*, свободы беспрепятственного развертывания своей программы, как бы ни относился к ней кабинет Милюкова. Соглашение на какой-либо *материальной* почве, будь то республика, будь то аграрная или военная программа, предполагало некое *сотрудничество* и требовало *контакта* ... Так и смотрели на дело правые и обывательские элементы Исполнительного Комитета.

Между тем для меня была ясна, была естественна и необходима перспектива не сотрудничества и контакта, а *борьбы*, самой законной, правомерной и исторически неизбежной классовой борьбы между революционной демократией и цензовым правительством.

«Соглашение» в данный момент, то есть декларированное условие вручения власти, должно было поэтому свестись к ничтожному, почти формальному минимуму: к тому, чтобы *уравнять условия* этой борьбы, чтобы вырвать у плутократии ядовитый зуб против самостоятельности и классового самосознания народных масс.

Это были два принципиально различных понимания момента и ситуации. Те, кто настаивал на расширении требований (если делали это с полным сознанием), предполагали, что данную программу выполнит правительство Милюкова, что *она* должно ее выполнить. Для меня же было ясно, что образуемое Временное правительство при благополучном завершении переворота окажется весьма временным, что оно не выдержит развертывания народной программы и неизбежно лопнет под напором народных сил. *Этому* правительству революция, при данном всенародно-армейском характере ее, конечно, окажется не под силу, не по плечу, не по природе. При действительной победе революции оно окажется ее жертвой в недалеком будущем.

И я на том же заседании говорил для тех, кто стремился расширить платформу соглашения с цензовой буржуазией: необходимо не соглашение на «платформе», а свобода борьбы. Нелепо и ненужно предъявлять неприемлемые и невыполнимые для буржуазии требования, надо *независимо от нее* развертывать свою программу; при помощи этого правительства мы должны лишь завершить и закрепить переворот, а через несколько недель, через два месяца мы будем иметь другое правительство – правительство большинства страны, скажем мелкобуржуазное правительство Керенского, к нему мы будем предъявлять другие требования, ему предложим иную программу, соответствующую его иной классовой природе.

Предъявление цензовому правительству на предмет выполнения демократической программы и стремление подменить единственное необходимое условие передачи ему власти *соглашением* с ним на определенной платформе – это *одна сторона разногласий* в Исполнительном Комитете. Не менее любопытна была другая.

Казалось бы, на основании всего предыдущего, что сторонники расширительной программы должны были находиться от меня направо. Но ориентироваться в данной обстановке было не так легко, и программу усердно расширяли слева. И из этого расширения необходимо вытекал практический вывод. А именно, программа, разработанная демократией для цензового правительства, должна была выполняться им, естественно, в *контакте, при поддержке, при содействии, при участии демократии*.

И опираясь на расширение программы слева, правая часть довольно последовательно могла требовать официального *участия советской демократии в правительстве*, то есть создания коалиционного министерства. Его, действительно, и требовала правообывательская часть, утвердившаяся в мысли, что революция у нас буржуазная, что задача состоит в создании свободных условий буржуазного развития и в насаждении его основ в контакте, в согласии и в сотрудничестве с цензовыми элементами. Видя в перспективе органическую работу над уре-

занной (применительно к требованиям буржуазного строя) программой, оборонцы и народники отстаивали участие демократии в образуемом правительстве. Те же, кто вместе со мной, пытаюсь «использовать» буржуазию, видел в перспективе *борьбу за неурезанную программу* и стремился сохранить для нее развязанными руки советской демократии, те были решительно против всякой «коалиции» и против участия в первом революционном кабинете...

В этом последнем пункте мы нашли поддержку у тех, кто по недоразумению *расширял* условия передачи власти цензовому правительству, а также и у тех, кто «поговаривал» об образовании демократической, рабоче-крестьянской власти.

Так стоял вопрос, так представлял себе я положение дел, и так примерно, насколько позволяло время, я высказывался 1 марта в Исполнительном Комитете при обсуждении политической проблемы революции.

Обсуждение началось. В зале Совета шумела толпа, которая просачивалась и в комнату № 13, волнуясь, чего-то требуя, предъявляя какие-то бумаги секретарям и всяким добровольцам. Часовые и новые служащие с трудом сдерживали напор ломившихся в заседание комитета по чрезвычайным и неотложным делам.

Обсуждение началось довольно дружно и толково. Очень быстро определилось настроение – против участия в правительстве, причем на эту тему внезапно раскричался Чхеидзе, без нужды волнуясь и грозя ультиматумами.

Чхеидзе вообще как огня боялся всякой причастности к власти, не только сейчас и не только для советской демократии, но и впоследствии, и для себя лично и для своих ближайших друзей.

Сильной, принципиальной и толковой защиты коалиции сейчас не было. Впрочем, не было тогда налицо более интересных ее сторонников – Богданова, которому было поручено взять на себя организацию канцелярии, Пешехонова, «комиссарствующего» на Петербургской стороне.

Как бы то ни было, центр обсуждения был перенесен в разработку *условий передачи власти* Временному правительству, образуемому думским комитетом. Что же касается самого факта образования цензового правительства, то он был принят как нечто уже решенное, и против него, в пользу демократического правительства, насколько я помню, тогда не было поднято ни одного голоса. Между тем с самого начала в заседании присутствовали официальный большевик Залуцкий, неофициальный Красиков, а затем, через некоторое время, Шляпников, порхавший туда и сюда по партийным делам, представил Исполнительному Комитету нового большевистского представителя Молотова... Я, конечно, не говорю о таком «большевике», как Стеклов: он не только в это время, но и до самого октября не имел ничего общего с большевиками; в те же времена он, подобно мне, представлял *центр* Исполнительного Комитета.

Направо были бундовцы (партийные представители) и не помню кто из народников... Протокола по-прежнему не велось.

Обсуждение, однако, продолжалось недолго. Вероятно, не более чем через полчаса оно было прервано довольно шумным появлением из-за занавески какого-то полковника в походной форме и в сопровождении гардемарина с боевым видом и взволнованным напряженным лицом. Все с досадой и возгласами негодования обернулись на них. В чем дело?

Вместо точного ответа полковник, вытянувшись, стал рапортовать о том, что сейчас Исполнительный Комитет есть правительство, обладающее всей полнотой власти, что без него ничего сделать нельзя, все от него зависит, что ему повинуются и должны повиноваться все добрые граждане, и дальше в этом роде. Подобострастный тон полковника, привычный ему в обращении с начальством, его нелепая болтовня, а главное – нарушение наших занятий, понятно, произвели неприятное впечатление и привели в раздражение большинство.

– В чем дело, говорите толком и скорее! – закричали ему со всех сторон.

Многие встали, мгновенно воцарился беспорядок. Охватило сознание беспомощности, ощущение тоски и нудности... Но полковник не унимался и стал говорить о своей преданности революции, о том, как он «и раньше всегда» и т. п.

Мы окончательно потеряли терпение. Пришлось, повысив тон, приказать полковнику объяснить, в чем дело, или удалиться. Оказалось, что глупый офицер был послан из думского комитета от имени Родзянки и все предыдущее было дипломатическим приемом, который он считал необходимым для своей миссии.

Дело было в том, что Родзянко, получив от царя телеграмму с просьбой выехать для свидания в Дно, не мог этого сделать, так как железнодорожники не дали ему поезда без разрешения Исполнительного Комитета. Полковник был прислан просить этого разрешения. Приходилось немедленно обсудить это, прервав начатое дело. Полковника просили пока удалиться. Он успел уже вновь начать свою речь о своей преданности революции, подкрепляя это ссылками на факты из своей биографии, но его перебил возбужденный гардемарин.

– Позволяю себе, – начал он, – спросить от имени моряков и офицеров, какое ваше отношение к войне и к защите родины?.. Повинуясь вам, признавая ваш авторитет, мы должны знать...

Это было уже слишком. Обоим было решительно приказано удалиться. Но, уходя, гардемарин все же продолжил свое заявление.

– Я считаю необходимым сказать, что мы все стоим за войну, за продолжение войны. С нами вся армия – и здесь, и на фронте... «Рабочий комитет» может на нас рассчитывать только в том случае, если он также...

Гардемарины прервали.

– Вопрос о войне и мире в Совете еще не обсуждался. Когда будет принято решение, вы о нем узнаете. Сейчас, будьте любезны, не мешать очередной работе...

Да, вопрос о войне и мире еще не обсуждался. Он был снят с очереди первым планомерным вмешательством в стихийный процесс революции. Исполнительный Комитет еще не имел ни малейшей возможности занять ту или иную позицию по этому вопросу, а главное – *не в расчетах* его руководящего большинства было форсировать проблему мира. Напротив, было необходимо выждать сколько возможно. В Совете же этого вопроса не затрагивали даже сами рабочие, инстинктивно чувствуя, что он может оказаться весьма болезненным, крайне сложным и чреватым подводными камнями. Но было ясно: продолжать эту фигуру умолчания можно и должно лишь до известных пределов. Не нынче завтра проблема должна стать на очередь. И выступление гардемарина, напомнившее нам и об остроте проблемы, и об ее опасности, было крайне симптоматично.

Вопрос о поезде Родзянки был решен очень быстро одним дружным натиском. Мы говорили об этом, стоя на ногах, как были во время борьбы с полковником и с гардемаринком...

Я говорил: Родзянку пускать к царю нельзя. Намерений руководящих групп буржуазии, «Прогрессивного блока», думского комитета мы еще не знаем и ручаться за них никто не может.

Они еще ровно ничем всенародно не связали себя. Если на стороне царя есть какая-либо сила, чего мы также не знаем, то «революционная» Государственная дума, «ставшая на сторону народа», непременно станет на сторону царя против революции. Что Дума и прочие этого *жаждут*, в этом не может быть сомнений. Весь вопрос – в *возможности* образования контрреволюционной силы под видом объединения царя с народом в лице «народного правительства»... Их сговор в Ставке и успехи царя могут произвести величайшую смуту среди армии, и без того растерявшейся, сомнительной и неустойчивой. И что было не под силу одному царю, то он легко может сделать при помощи Думы и Родзянки: собрать и двинуть силы для водворения порядка в Петербурге, не только революционном, но и совершенно распыленном и беззащитном... Ведь каждому известна и истинная позиция думского большинства, и то, что контр-

революции достаточно иметь один преданный сборный полк, чтобы погубить все движение. Кто может ручаться, что от разрешения дать поезд Родзянке не зависит судьба революции? Надо благодарить железнодорожников за правильное понимание и доблестное выполнение ими долга перед революцией и в поезде Родзянке отказать.

Не помню, высказал ли кто-нибудь мнение, что поезд дать было бы полезно. Может быть, говорил кто-нибудь, что это не принесло бы вреда. Но, во всяком случае, прения были чрезвычайно кратки, и если не единогласно, то огромным большинством было постановлено: в поезде Родзянке *отказать*.

Почему-то осталось в памяти, что напротив меня в это время стоял Скобелев, который, кажется, председательствовал и голосовал в этом вопросе вместе с большинством.

Позвали полковника и, объявив ему решение, отпустили его. Он явно не ожидал такого исхода своей миссии, но тон заявления был настолько категоричен, что преданный революции вестник Родзянки принужден был ограничиться одним «слушаюсь» и, звякнув шпорами, удалиться.

Мы обратились к очередным делам. Не помню, попытались ли мы продолжать обсуждение вопроса о власти или же погрязли на несколько времени в экстренных, внеочередных делах. Этих дел, во всяком случае, накопилось довольно. Но минут через 20 по уходе полковника из думского крыла через нашего секретаря передали члену Временного комитета Государственной думы Чхеидзе просьбу от имени Родзянки немедленно пожаловать к председателю Государственной думы. После колебаний и ворчания со стороны доброй половины присутствующих Чхеидзе стал покорно собираться. Цель его вызова была очевидна.

Но в это время в комнату влетел бледный, уже совершенно истрепанный Керенский. На его лице было отчаяние, как будто произошло что-то ужасное.

– Что вы сделали? Как вы могли! – заговорил он прерывающимся трагическим шепотом. – Вы не дали поезда!.. Родзянку должен был ехать, чтобы заставить Николая подписать отречение, а вы сорвали это... Вы сыграли на руку монархии, Романовым. Ответственность будет лежать на вас!..

Керенский задыхался и смертельно бледный, в обмороке или полуобмороке упал в кресло. Побежали за водой, расстегнули ему воротник. Положили его на подставленные стулья, прыскали, тормозили, всячески приводили в чувство. Я не принимал в этом участия и мрачно сидел в соседнем кресле. Сцена произвела на меня отвратительное впечатление.

Что Керенский, не спавший несколько ночей, затративший нечеловеческое количество нервной энергии за дни революции, ослаб до тривиальной истерики, это было еще терпимо. Что он в важном деловом вопросе, требовавшем быстрой деловой ориентировки, подменил здравый смысл и трезвый расчет полутеатральным пафосом, в этом также еще не было ничего особенно злостного. Хуже было то, что Керенский на второй день революции уже явился из правого крыла в левое прямым, хоть и бессознательным *орудием и рупором* Милюковых и Родзянок... Кроме того, я опасался за судьбу принятого решения насчет поезда. Керенский, понятно, явился с тем, чтобы его аннулировать, а его нажим и его истерика могли оказать влияние на многих.

И действительно, очнувшись, Керенский произнес тут же длинную и бестолковую речь не столько о поезде и об отречении, сколько о долге каждого перед революцией и о необходимости контакта между правым и левым крыльями Таврического дворца. Он говорил нудно и раздраженно, подчеркивая не раз, что он, Керенский, пребывает в правом крыле для защиты интересов демократии, что он уследит за ними, обеспечит их, что он – достаточная гарантия, что при таких условиях недоверие к думскому комитету есть недоверие к нему, Керенскому, что оно при таких условиях неуместно, опасно, преступно и т. д.

Сейчас «sub specie aeternitatis»¹⁹ при свете всего дальнейшего вся эта наивная, истерично-эгоцентричная речь представляется мне чрезвычайно характерной: это зародыш будущего беспомощного истерика, вообразившего себя не «математической точкой русского бонапартизма», а действительным Бонапартом, призванным спасти страну и революцию, вообразившим себя субъектом диктаторской власти, а не объектом власти стихий и контрреволюционных групп...

Керенский потребовал пересмотра принятого решения о поезде Родзянке. Несмотря на протесты меньшинства, указывавшего, что нет налицо никаких новых обстоятельств, было решено пересмотреть вопрос. На этот раз прения шли довольно долго, причем размягченным ораторам правой стороны удалось вслед за Керенским запутать вопрос и расторгнуть дело о поезде в общих разговорах о взаимоотношениях между крыльями Таврического дворца.

В результате произошло нелепое голосование: всеми наличными голосами против трех (Залуцкого, Красикова и меня) была отдана дань истерике Керенского, и поезд Родзянке был разрешен.

Родзянко, однако, не уехал. Времени прошло слишком много, а снарядить поезд было можно не так скоро. Был, вероятно, уже второй час дня. Царь не дождался Родзянки в Дне и выехал в Псков... Меня же встреченный в советской зале известный старый меньшевик Крохмаль поспешил ядовито поздравить с тем, что в только что состоявшемся голосовании я вотировал вместе с неистовым Красиковым, который не пользовался репутацией вразумительного человека.

Заседание Совета уже началось. На председательском месте, на столе, стоял Н. Д. Соколов, геройски не сходявший с него до самого вечера. На очередь были поставлены исключительно или главным образом «военные» вопросы: об отношении солдат к возвращающимся офицерам, о выдаче оружия, о Военной комиссии, ее составе и компетенции. На ораторской трибуне, то есть на столе, сменяли друг друга солдаты и «прапорщики». Что они говорили, я не слышал и не знаю. Но все заседание прошло под знаком тревоги и требований отпора думскому комитету в связи со вчерашним выступлением Родзянки и с попытками разоружить солдат.

Дело о поезде не дало нам кончить дело о власти. За это время накопилась целая куча вермишели, и правильная работа вновь была нарушена. Началась и текущая «канцелярская работа»; пришлось подписывать десятки бумаг, разрешений, удостоверений...

Не помню, зачем было необходимо отправиться в Военную комиссию, которая перенеслась в какое-то новое неизвестное помещение наверху, в отдаленном углу дворца. Было страшно подумать об этом путешествии через непроницаемые толпы, через сквозняки, через митинги, через шпалеры просителей, которых нет возможности удовлетворить, сквозь строй всяких делегатов с экстренными заявлениями и просто «преданных революции» обывателей с неотложными делами и без оных, с одним любопытством.

Сообщили, что во дворец только что пришел «конвой его величества» выразить покорность и предложить службу революции. Ясно, вся армия отряхнула от ног своих прах царизма, и сейчас для переворота не страшно ни кадровое, кастовое реакционное офицерство, ни черносотенный генералитет. Всем приходилось прикинуться «преданными революции».

Во главе конвоя явился какой-то великий князь – Кирилл Владимирович, тоже оказавшийся исконным революционером. Его немедленно оцепили честные служители печатного слова буржуазно-бульварные журналисты и долго носились с ним, не обращая внимания на все то, происходящее у них под носом, в чем бился действительный пульс революции, что было захватывающе интересно и для истории, и для непосредственного наблюдения культурных людей...

¹⁹ с точки зрения вечности (лат.)

Дворец имел вчерашний вид – непролазной толпы, невыносимой давки, бесконечных шинелей, неразберихи и подъема. В Екатерининской зале поднимались над толпой бесчисленные знамена и фигуры ораторов там и сям.

Что было нового – это лавочки, раскинутые партийными организациями, с листками, справками, всякой литературой. Их плакаты: «Центральный Комитет партии социалистов-революционеров» или «Военная организация РСДРП (большевиков)» и тому подобная «нелегалщина», вынырнувшая из подполья, непривычно красовалась на глазах тысячных толп, удивляя и путая закоренелых конспираторов.

Партийная работа уже шла в городе на всех парах. Массы организовывались... Как и вчера, взволнованные люди добивались членов Исполнительного Комитета и сообщали в попытках об эксцессах, столкновениях, стрельбе, погроме в той или иной части города. Исполнительный Комитет был тут ни при чем; он ничего не мог поделать, и посылаемые отряды по-прежнему не внушали никаких надежд. Но город сам, местными силами, самодеятельностью районов залечивал свои раны, обслуживал и терапевтику, и хирургию, и санитарию революции. И чем дальше, тем больше экстренные заявления об эксцессах, погромах и проявлениях анархии оказывались плодом перепуганного воображения.

Я поспешно двинулся и медленно пробирался в Военную комиссию. Но меня догнали с директивой отправиться в Петропавловскую крепость, откуда донесли о каком-то важном столкновении или разгроме. Я должен был ехать вместе с Керенским в автомобиле, но, выбравшись на двор, я в указанном месте не нашел ни Керенского, ни автомобиля и, проплутав по митингу в сквере, с величайшим трудом пропущенный обратно во дворец, я сдал это дело встреченному случайно Гвоздеву, стремившемуся хоть немного побыть на воздухе и охотно взявшему на себя поездку в Петропавловку. Узнав в Исполнительном Комитете, что дело в Военной комиссии все еще не сделано, я, выбиваясь уже из сил, стал снова пробираться туда.

Во главе Военной комиссии был уже кем-то назначенный Гучков, кандидат в военные министры. Вместе с тем весь облик Военной комиссии приобретал не только чуждый, но злокачественный вид. Потратив невероятное количество энергии и времени на передвижение, я попал наконец в сферу Военной комиссии, в какие-то верхние коридоры над кухней, где, нарушая все законы непроницаемости, сплошь стояли военные, ломившиеся к Гучкову. Гучков же, как говорили, заперся с великим князем Кириллом Владимировичем и был занят с ним важными делами.

Затрудняюсь сказать, почему именно, но я почувствовал, что меня охватила в этом месте атмосфера не революции, а самой доподлинной контрреволюции. Офицеры были не наши и не прежние, из комнаты 41, а совсем иного сорта, каких я видел потом около Керенского и Пальчинского в Главном штабе, в эпоху корниловщины... Я не нашел никого из прежних центральных лиц Военной комиссии. Меня посылали к Гучкову, с которым я, однако, совсем не желал иметь дела.

Но, с другой стороны, к Гучкову, занятому с великим князем, не пускали, пока не узнали, что я член Исполнительного Комитета. Тогда вдруг все офицеры, ординарцы, приближенные стали более чем любезны, стали просить меня только две минуты подождать Александра Ивановича, стали усиленно приглашать меня к нему и убеждали поговорить с ним, прибавляя, что он сам искал и желал повидать кого-либо из «рабочих депутатов». Передо мной стали рассыпаться до того, что я почувствовал какое-то смутное подозрение, сам не знаю в чем. Во всяком случае, было вполне вероятно, что с Гучковым пришлось бы вести политический разговор. Я решительно отказался от этого randevu и, назвав комнату, где можно видеть членов Исполнительного Комитета, отправился назад, ничего не добившись...

Технические условия нашей работы не стали лучше за эти сутки, с тех пор как я снаряжал «капитана Тимохина».

Заседание Совета было в полном разгаре и имело на этот раз деловой характер, несмотря на ту страстность, какую вносили солдаты в обсуждение своих наболевших вопросов. Соколов неутомимо стоял на столе и энергично управлял бушующим под его ногами морем шинелей, совершенно подавивших черные рабочие фигуры.

Исполнительный Комитет, как таковой, не руководил этим собранием и не знал толком, что там происходит. У него не было к тому никакой возможности, но все же это было упущением, имевшим довольно существенные последствия.

Исполнительный Комитет не заседал, когда я вернулся. Все по группам или в одиночку были заняты текущими делами. Иных не было налицо...

Пришло известие из Кронштадта, что там избивают офицеров, что убит адмирал Вирен и другие. Событие было чрезвычайное и могло послужить сигналом к грандиозной резне ненавистного офицерства болезненно настроенной массой. В связи с настроением, царившим в советской зале (на почве бестактного поведения думских политиков), в связи с возможной провокацией кронштадтские избиения могли вылиться в безудержную и гибельную стихийную бурю. Было необходимо потушить движение в зародыше... Кого-то в экстренном порядке отрядили в Кронштадт...

Приходили и другие известия о насилиях над офицерами. Было решено немедленно опубликовать воззвание к солдатам с протестом против самосуда, с призывом установить «контакт» между солдатами и офицерами революционной армии, с указанием на «присоединение» офицерской массы к революции, на безопасность ее для солдатской вольности в новых условиях и на необходимость заменить массовую огульную месть привлечением к ответу одних лишь виновных... Я среди шума и беспорядка написал краткую прокламацию в этом духе, но довольно неудачно. Стеклов взялся переделывать. Наскоро прочли и отправили в типографию, чтобы расклеить по городу к ночи или за ночь...

Пришла бумага от нового петербургского общественного градоначальника, назначенного думским комитетом. Это был вышеупомянутый Юревич, который просил Исполнительный Комитет назначить ему помощника.

Понятно, никаких назначенных градоначальников быть впредь не должно. Но временно, в процессе установления нового порядка, в градоначальстве могла быть произведена крайне полезная работа, хотя бы по *разрушению* старого полицейского гнезда. И авторитет Совета, и его контроль в этом деле также могли оказаться весьма целесообразными. Но работа требовала, во-первых, большой энергии и неменьшего такта, а во-вторых, специального человека. Кого послать?.. Случайно встретив в кулуарах моего старого друга и единомышленника, финансиста и государствоведа Никитского (будущего товарища петербургского городского головы), я без долгих разговоров снарядил его в градоначальство. Тут же была написана бумага; к Никитскому в качестве секретаря был прикомандирован также случайно попавшийся мой коллега по туркестанским делам, будущий левый эсер Горбунов – и места доблестных генералов от полиции Вендорфа и Лысогорского, ныне пребывающих в министерском павильоне, были достойно замещены.

Позднее, вечером, перед открытием знаменитого ночного заседания на 2 марта, в апартаментах думского комитета я сообщил, проглатывая стакан чая, Юревичу и Некрасову об этой смене членов градоначальства, добавив, что я, нелегальный, подал прошение Никитскому о разрешении мне жительство в Петербурге и надеюсь на благоприятный ответ.

Часу в шестом было возобновлено заседание комитета. Приступили к продолжению прений о власти. На этот раз Исполнительный Комитет был в полном составе, всего с представителями партий было свыше 20 человек. На половине заседания в Исполнительный Комитет влились еще девять человек, избранных солдатской частью Совета, в качестве временных представителей петербургского гарнизона. Это были большевики Садовский, Падерин, затем левый центр.

– Борисов, Барков, Баденко и дальше люди неопределенной партийности, невыясненной физиономии и невысокого уровня, вскоре исчезнувшие с горизонта... Сейчас вся эта группа, внезапно появившаяся из-за портьеры и переполнившая маленькую комнату Исполнительного Комитета, конечно, не могла войти в курс давно начатого обсуждения и, пытаясь деятельно участвовать в прениях, только мешала работе.

Порядок обсуждения был установлен такой: сначала самый характер, классовый состав первого революционного правительства – буржуазный, коалиционный или демократический; затем требования, к нему предъявляемые, и, наконец, личный состав кабинета. С первым оказалось наиболее возни и разногласий. Правда, о советском демократическом правительстве никто не заикался (несмотря на вчерашний большевистский манифест, казалось бы, к чему-то обязывавший), но зато основательный бой дали сторонники «коалиции», мобилизовавшие большие силы, чем утром.

Во главе коалиционной партии в этом заседании шли бундовцы Рафес и Эрлих. К ним пристали некоторые оборонцы, социал-демократы, а главное – представители народнического толка. Остальные дружно отстаивали невхождение в цензовое правительство. В результате было постановлено 13 голосами против 7 или 8: *в министерство Милюкова представителей демократии не посылать и участия их в нем не требовать.*

Это надо заметить: это имеет значение для оценки недоразумений с Керенским, о которых речь будет дальше.

Гораздо дружнее прошел второй пункт. Выдвинутые мною три требования от правительства были развиты и дополнены. Но идея отказа от расширения требований в перспективе свободной борьбы за неурезанную программу, идея одного лишь обеспечения свободы борьбы, эта идея так или иначе легла в основу разработки этого пункта. Дополнения не имели самостоятельного значения; они лишь комментировали и углубляли общие требования полной политической свободы и наиболее последовательного воплощения принципа народовластия в виде Учредительного собрания.

Но все же это развитие и дополнение, эта детализация условий передачи власти буржуазии были очень важны. И я считал бы огромным упущением, если бы они не были сделаны и наши требования остались бы в том виде, в каком они рисовались мне лично до их обсуждения...

Председательствовавший Стеклов записывал отдельные пункты на листе бумаги по мере их утверждения. Насколько помню, голоса здесь почти не делились. Работа шла на редкость дружно и напряженно. Реплики ораторов были на удивление кратки. Времени было мало, и все хотели быть на высоте. Но, разумеется, избежать «экстренных сообщений» и «чрезвычайной важности дел» было невозможно. И свои, и посторонние несколько раз прерывали работу. Помню комическое выступление Шляпникова, ворвавшегося в разгар прений и закричавшего своим классическим владимирским говором:

– Пока вы тут занимаетесь академическими вопросами, у нас на вокзале конфисковали нагну партийную литературу. Исполнительный Комитет должен принять экстренные меры...

В развитие пункта о политических свободах был предложен и принят пункт о распространении всех завоеванных гражданских прав *на солдат*, которые вне строя должны быть переведены на *гражданское подозрение*. Насколько помню, предложение это было сделано одним из вновь вступивших солдатских членов Исполнительного Комитета.

Трудно оспаривать огромное значение этого пункта, который в чрезвычайной степени облегчил дальнейшую работу Совета. Пункт этот, правда, сам собой разумелся и был бы проведен в жизнь независимо от торжественного обещания правительства выполнять это требование демократии. Но совершенно неоспоримо, что выделение в особый пункт этого требования и конкретное упоминание о будущей жизни армии избавило нас впоследствии от массы вредных осложнений и парализовало сопротивление буржуазии вновь созданному, чрезвычайно одиоз-

ному для нее положению армии. *Борьба за армию* сильно облегчилась для демократии благодаря этому, специально выговоренному условию, и благодаря ему армия несравненно более быстро и безболезненно перевила в руки Совета.

Другой стороной того же дела, развитием и гарантией пункта о свободах было требование *уничтожения полиции и замены ее народной милицией*, не подчиненной центральной власти. Ценность этого дополнения также огромна и вполне очевидна. Надо только удивляться, как могли сознательные пролетарские элементы в Германии через полтора года после всех уроков русской революции упустить это необходимое и элементарное требование и оставить полицию кайзера на своем месте, в руках шейдемановско-плутократической контрреволюции. Шейдеман не замедлил воспользоваться этим незаменимым орудием в январские дни, так же как воспользовался бы им Милюков в *апрельские*, если бы демократия не вырвала этого орудия из его рук в самом начале... Однако наша полиция была уничтожена самим процессом переворота.

В развитие требования Учредительного собрания и народовластия были выставлены и утверждены, во-первых, *возможно скорые и максимально демократические выборы в городские и сельские муниципалитеты*; а во-вторых, после интенсивных поисков надлежащей формулировки было решено требовать, чтобы правительство *«не предпринимало никаких шагов, предreshающих будущую форму правления»*, с тем чтобы Учредительное собрание свободно решило вопрос о республике или монархии.

Муниципальные выборы, которых нельзя было осуществить без официальной власти, являлись первостепенным фактором организации и закрепления демократизма в стране. Требование же насчет формы правления имело два противоположных источника: с одной стороны, Милюков в одной из речей к народу уже *успел предreshить* отношение к этому вопросу будущего правительства и высказался в пользу регентства Михаила Романова; с другой стороны, в прениях Исполнительного Комитета немедленное объявление республики не в пример другим пунктам было выдвинуто с особой остротой. Было найдено третье, компромиссное решение, которое облегчило создание цензового министерства и вместе с тем обеспечивало республику: было утверждено *полновластие Учредительного собрания во всех вопросах государственной жизни, и в том числе в вопросе о форме правления*...

Следует упомянуть о довольно любопытном факте. Мы сошлись со Стекловым в мыслях по следующему предмету: мы предложили не настаивать перед «Прогрессивным блоком» на самом термине «Учредительное собрание»... Совсем недавно Милюков противопоставлял в Государственной думе либеральную позицию демократическому лозунгу *«какого-то Учредительного собрания»*, указывая на всю нелепость и несообразность этой затеи. Мы считали возможным, что психологические импульсы окажутся для него непреодолимыми и, признав неизбежным самый институт, думские заправилы не смогут переварить его названия. Мы предлагали на такой случай допустить какое-либо иное его официальное название,²⁰ категорически установив его полновластность... Но этого не потребовалось. Милюков решил, что, снявши голову, по волосам не плачут, и не уделил этому обстоятельству внимания. Он дал бой на другом...

Наконец, как мера гарантии, Исполнительным Комитетом было выставлено техническое требование *невыхода из Петербурга и неразоружения воинских частей, принимавших участие в перевороте*.

Возник вопрос, тщательное решение которого могло оказаться очень важным, но который был скомкан и как следует, насколько помню, не доведен до конца. Вопрос о том, *что может предложить Совет в ответ на требование противной стороны, взамен выполнения всех этих условий*. Правая часть Исполнительного Комитета в лице тех же элементов, которые

²⁰ «Национальное», «Законодательное» собрание или что-нибудь в этом роде

стояли за «коалицию», настаивала на поддержке будущего правительства, настаивала на том, чтобы не чинить ему оппозиции, поскольку оно не нарушает наших условий.

Я решительно восстал против этого, говоря: «Если это правительство, с нашей точки зрения, есть лишь правительство закрепления переворота, если мы способствуем его образованию лишь для этой цели, то соблюдать с ним контакт, не чинить ему оппозиции, то есть, в сущности, не разворачивать своей собственной демократической программы, мы можем лишь в самом процессе переворота и его закрепления». Отказаться же от всего этого вообще или на скольконибудь длительный период времени Совет не может и не должен. Это было бы самоубийством, хуже того, это было бы убийством движения, полной капитуляцией демократии и смертным грехом перед Интернационалом. Я ставил на вид, что ведь в наших условиях нет даже упоминания о *мирной политике* перед лицом нашего ультраимпериалистского «контрагента».

Но что до того было обывателям и оборонцам! Ведь именно *здесь*, в бургфридене, пред лицом «германского милитаризма» был основной смысл той капитуляции перед буржуазией, которую они проповедовали... Вопрос был скомкан и не доведен до конца... В этом заседании появился на свет лишь *зародыш* будущей пресловутой формулы «поскольку-постольку».

Вопрос мог бы оказаться в высшей степени существенным. Дипломатическая задача состояла теперь в том, чтобы так же не довести его до конца при самом заключении договора, как он был смазан в Исполнительном Комитете. Но эта задача разрешилась сама собой и не доставила нам затруднений: на мудрецов думского комитета оказалось довольно простоты, чтобы не заметить проблемы и устремить несравненно больше внимания на сравнительные пустяки...

Последний пункт – о *личном составе правительства* – был решен без всяких затруднений. Было решено не вмешиваться в это дело и предоставить буржуазии как угодно формировать министерство. Было известно, что формальным главой намечен земец Львов, обычный кандидат в премьеры еще в эпоху «оппозиции его величества». Вместе с тем и распределение функций между представителями думских фракций также показывало, что формируемый кабинет будет *левее* «Прогрессивного блока» и большинства столыпинской думы... Милюков, сидевший в ней налево, должен был представлять центр, если не правый фланг будущего министерства.

Но, во всяком случае, от всякого влияния на личный состав мы отказались. Было только условлено, что мы будем осведомлены о нем и отведем особо одиозных лиц, если таковые будут приглашены в правительство.

Обсуждение было закончено. Все эти решения Исполнительного Комитета было необходимо провести через Совет. Повторяю, откладывать все это дело было невозможно, так как происходящее в правом крыле – позиции руководящих групп буржуазии, их планы и возможные замыслы – нам было в точности неизвестно.

Было, вероятно, около восьми часов. Заседание Совета все еще продолжалось, но было уже на исходе. Совет уже таял, подобно митингам и толпам в других залах дворца, затихавшего к вечеру. В Совете кончалось обсуждение солдатских дел и принимались практические решения, касавшиеся жизни гарнизона.

Было решено конституировать солдатскую секцию Совета и организовать выборы в нее: по одному на роту. Затем было постановлено: *во всех политических выступлениях подчиняться лишь Совету*. Военной же комиссии подчиняться постольку, поскольку ее распоряжения не расходятся с постановлением Совета. Кроме того, было решено дать директиву выбирать ротные и батальонные комитеты, которые заведовали бы всем внутренним распорядком жизни полков и казарм. Далее, ввиду тревоги по поводу обезоружения солдат было постановлено никому не выдавать оружия и хранить его под контролем ротных и батальонных комитетов (напомню, что полковник Энгельгардт одновременно послал в типографию приказ, в котором *запрещал* отбирать у солдат оружие под страхом расстрела). И наконец. Совет объявлял «рав-

ноправие солдат с прочими гражданами в частной, политической и общегражданской жизни при соблюдении строжайшей воинской дисциплины в строю».

Отголоском этого постановления и было требование представителя солдат в Исполнительном Комитете включить соответствующий пункт в цикл требований, обращенных к правительству.

Повторяю, Исполнительный Комитет, как таковой, не участвовал в принятии этих решений и не руководил заседанием. Все постановления были буквально голосом самих солдатских масс.

Совет постановил свести все эти свои решения в одном воззвании или приказе. Для составления его он избрал особую комиссию, поручив ей выполнять эту работу немедленно и представить ее на утверждение сегодня же, пока еще не разошелся Совет... Но он уже расходился, проведя в интенсивной работе много часов без передышки.

Все же ему предстояло не только утвердить это воззвание, содержание которого было целиком ему известно и им намечено. Ему предстояло еще выслушать доклад Исполнительного Комитета по неизвестному, неразработанному в его сознании вопросу о *власти* и утвердить программу действий, намеченную Исполнительным Комитетом.

Было ясно, что о тщательном обсуждении этого доклада сейчас не может быть и речи. Ни для каких прений уже не было сил у непривычных к такой работе депутатов. Но надо было получить хоть предварительное одобрение общих принципов и получить санкцию на предварительные шаги, уже не терпящие отлагательства...

В Совет отправился для доклада Стеклов, сменивший на столе Соколова и захвативший с собой кого-то в председатели. Остальные члены Исполнительного Комитета поступили на растерзание текущими делами.

Пришло известие, что в зале Армии и Флота состоялось огромное собрание петербургских офицеров, выразивших готовность служить революции и высказавшихся в пользу Учредительного собрания. Явились возбужденные офицеры, которые рассказали, что с этой резолюцией они отправились к Родзянке, просили принять ее к сведению и предать гласности. Родзянко обещал это сделать, но из его кабинета резолюция пошла в печать уже *без Учредительного собрания*. Офицеры привили жаловаться на злостное искажение их позиции и требовать перепечатки резолюции в ее настоящем виде...

Около десяти часов привели арестованного Сухомлинова и направили куда-то в правое крыло. Весь дворец мгновенно облетела весть об этом. Собралась толпа солдат и требовала «выдачи». Солдат успокоили и добились обещания безопасности ненавистному министру. Но они настояли на немедленном лишении его погон. Был послан делегат, вернувшийся с погонями и показавший их толпе. А затем под конвоем членов Думы, через шпалеры выстроенных для охраны преображенцев Сухомлинова благополучно провели в министерский павильон.

Стеклов еще делал доклад Совету «о власти»... Вернувшись за портьеру комнаты 13, где недавно заседал Исполнительный Комитет, я застал там следующую картину: за письменным столом сидел Н. Д. Соколов и писал. Его со всех сторон облепили сидевшие, стоявшие и навалившиеся на стол солдаты и не то диктовали, не то подсказывали Соколову то, что он писал. У меня в голове промелькнуло описание Толстого, как он в яснополянской школе вместе с ребятами сочинял рассказы.

Оказалось, что это работает комиссия, избранная Советом для составления солдатского «Приказа». Никакого порядка и никакого обсуждения не было, говорили все – все, совершенно поглощенные работой, формируя свое коллективное мнение безо всяких голосований... Я стоял и слушал, заинтересованный чрезвычайно... Окончив работу, поставили над листом заголовок: «*Приказ № 1*».²¹

²¹ Вот этот документ полностью (из № 3 «Известий Петроградского Совета»). Приказ № 11 марта 1917 года По гарнизону

Такова история этого документа, завоевавшего себе такую громкую славу. Содержание его целиком исчерпывается приведенными выше постановлениями Совета и, как видим, не включает в себе ничего страшного. Вызван же он был общими условиями революции, а в частности, бестактной, провоцирующей политикой по отношению к солдатам со стороны представителей думского комитета.

Приказ этот был в полном смысле продуктом народного творчества, а ни в каком случае не злонамеренным измышлением отдельного лица или даже руководящей группы... Буржуазная пресса, вскоре сделавшая этот приказ поводом для бешеной травли Совета, почему-то приписывала авторство его Стеклову, который неоднократно отрешивался от него, не винуватый ни сном, ни духом... Но и Соколова никак нельзя считать автором этого документа. Этот «ра-аковой человек», как любил говорить Чхеидзе, явился лишь техническим исполнителем предначертаний самих масс. Напротив, со стороны пленума Совета это был едва ли не единственный акт самостоятельного политического творчества за всю революцию.

Пора было организовать заседание с думским комитетом на предмет создания Временного правительства и фиксирования его программы. Но члены Исполнительного Комитета разбегались, не проявив достаточной заботы об этой «большой политике». Я пошел на свой страх и риск в правое крыло, чтобы условиться о встрече. Лучше всего было действовать через Керенского, и я хотел отыскать его...

Третий день революции быстро затихал, и во дворце снова пустело и темнело. Но в отдельных углах дворца предстояла рабочая ночь. Я считал необходимым настоять на немедленном совместном заседании и не откладывать его на завтра. Но голова шла кругом и мучил голод – я, вероятно, и другие ничего не ели целый день.

Керенского я нашел в бывших апартаментах Военной комиссии, в комнате 41 или соседней, где по-прежнему толпились офицеры и вооруженные солдаты, во уже не было прежней тесноты. Что там происходило, не знаю. Керенский был в шубе, куда-то вызванный и готовый уехать. Около него, как всегда, была давка... Он был белее снега. Отвечал на вопросы громко, отрывисто и неопределенно.

Завладев им, я объяснил, в чем дело. Но он плохо слушал и понимал меня. Занятый своими мыслями, он позвал меня с собой, отвел в уединенный угол комнаты и, прижав меня к стене в буквальном смысле, начал странную, малосвязную речь, блуждая глазами и выкрикивая отдельные слова... Он опять говорил о доверии или, скорее, о недоверии к нему лично со стороны руководителей демократии. Он говорил о травле, будто бы начавшейся против него, о желании поссорить его с массами, употребляя чуть ли не такие термины, как подвохи, подкопы, интриги...

Петроградского округа всем солдатам гвардии, армии, артиллерии и флота для немедленного и точного исполнения, а рабочим Петрограда для сведения. **Совет рабочих и солдатских депутатов постановил:** 1. Во всех ротах, батальонах, полках, парках, батареях, эскадронах и отдельных службах разного рода военных управлений и на судах военного флота немедленно выбрать комитеты из выборных представителей от нижних чинов вышеуказанных воинских частей. 2. Во всех воинских частях, которые еще не выбрали своих представителей в Совет рабочих депутатов, избрать по одному представителю от рот, которым и явиться с письменными удостоверениями в здание Государственной думы к 10 часам утра 2 сего марта. 3. Во всех своих политических выступлениях воинская часть подчиняется Совету рабочих и солдатских депутатов и своим комитетам. 4. Приказы Военной комиссии Государственной думы следует исполнять, за исключением тех случаев, когда они противоречат приказам и постановлениям Совета рабочих и солдатских депутатов. 5. Всякого рода оружие, как-то: винтовки, пулеметы, бронированные автомобили и прочее – должно находиться в распоряжении и под контролем ротных и батальонных комитетов и ни в коем случае не выдаваться офицерам, даже по их требованиям. 6. В строю и при отправлении служебных обязанностей солдаты должны соблюдать строжайшую воинскую дисциплину, но вне службы и строя в своей политической, общегражданской и частной жизни солдаты ни в чем не могут быть умалены в тех правах, коими пользуются все граждане. В частности, вставание во фронт и обязательное отдавание чести вне службы отменяется. 7. Равным образом отменяется титулование офицеров: ваше превосходительство, благородие и т. п., и заменяется обращением: господин генерал, господин полковник и т. д. Грубое обращение с солдатами всяких воинских чинов и, в частности, обращение к ним на «ты» воспрещается, и о всяком нарушении сего, равно как и о всех недоразумениях между офицерами и солдатами, последние обязаны доводить до сведения ротных комитетов. Настоящий приказ прочесть во всех ротах, батальонах, полках, экипажах, батареях и прочих строевых и нестроевых командах. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов

Я, изумленный, смотрел на него. Во мне не было иного чувства, кроме удивления и жалости к человеку. Передо мной были налицо явные признаки нервного расстройства. Я пытался не возразить, не разъяснить, а уговорить, успокоить Керенского.

Таким я видал его впервые, но впоследствии видел таким не раз. И впоследствии мне стало очевидно, что дело тут не только в одной усталости и издерганности, что тут есть и другая сторона дела: появившаяся с первого момента уверенность Керенского в какой-то своей *миссии*, мгновенно возникшая готовность его защищать эту миссию приемами «бонапартенка» и величайшее раздражение против всех, кто об этой миссии еще не догадывался... В тот вечер я видел еще только начало, только зародыши того, чему свидетелем был позднее.

По делу об организации встречи между будущим правительством и представителями демократии я так и не добился. Керенский куда-то уехал, обещав скоро вернуться. А я направился в апартаменты думского комитета.

Прорвав фронт юнкеров, я попал в комнату, где явно царила совсем иная атмосфера, чем у нас. Народа было уже немного. И народ этот составляли чистенькие, корректные молодые люди, обслуживавшие технические нужды думского комитета. Затем лошечные офицеры и солидные штатские господа... Одни прогуливались по зале, другие чинно беседовали и пили чай, сервированный неведомыми в левом крыле способами, со стаканами, ложечками, чуть ли даже не сахарницами и т. п. Временный комитет Думы заседал в другой комнате, куда доступ был прегражден еще более солидными препятствиями.

Я увидел за столом нового «общественного градоначальника» Юревича, который разговаривал с сонным, размякшим Чхеидзе. Я подсел к ним и набросился на чай. Подошел Соколов, и мы мимоходом устроили маленькое совещание о положении дел в городе и о задачах нового «градоначальства».

Но надо было принимать меры к немедленному «учредительному» заседанию. В этом были согласны наличные члены нашего Исполнительного Комитета, и я попросил от имени последнего вызвать кого-либо из членов думского комитета. Вышел Некрасов.

– О чем именно вы предполагаете беседовать? – спросил он после моих объяснений.

По тому, как он держался, я составил впечатление, что в их комитете нашу решающую встречу также считали *неизбежной*. Но не ориентируясь как следует в советских настроениях, там, видимо, предпочитали *выжидательную* позицию, не желая наталкивать нас на какие-либо активные шаги и предоставляя событиям идти своим естественным ходом... Может быть, в думском комитете полагали, что, взяв беспрепятственно в свои руки *формальную* власть, они без помехи и вмешательства, на свой лад завладеют и *фактической властью* и потихоньку закрепят ее в желательной форме, до желательных пределов, своими силами, в правом крыле. Может быть, они полагали, что *вопросы общей политики между нами совсем не станут*, как не стали они до сих пор.

Но, во всяком случае, несомненно одно: думский комитет стремился «потолковать» с представителями демократии *по поводу «анархии» и «развала армии»*. Несомненно, в этих целях он желал и собирался просить нашей «помощи», стремясь нашими руками привести к покорности себе революционную армию и пролетариат... В результате я затрудняюсь сказать, в какой мере я удивил и в какой мере огорчил Некрасова, ответив ему на его вопрос:

– Нам надо и придется потолковать об общем положении дел...

Некрасов отправился сообщить об этом Временному комитету и, вернувшись, дал мне ответ: представителей Совета рабочих депутатов будут ждать к двенадцати часам.

Полночь была недалеко, до нее было не больше получаса. К этому времени должен был вернуться Керенский, и нам – Исполнительному Комитету – надлежало немедля сформировать наше представительство. Но Исполнительный Комитет к этому времени разошелся и in

conpore²² присутствовать на совещании не мог. Да в этом никакой надобности и не было. Хуже было то, что у нас не было формально уполномоченной делегации и нельзя было таковую избрать в оставшееся время. Пришлось приватно переговорить с немногими наличными членами, в результате чего ведение переговоров было возложено на четырех лиц: Чхеидзе, Соколова, Стеклова и меня.

В начале первого часа мы собрались в преддверии думского комитета. Нас, людей из другого мира, обступили офицеры и другие люди правого крыла, расспрашивая о положении дел, интересуясь нашими планами и видами. У Стеклова в руках был лист бумаги, тот, на котором он записывал решения Исполнительного Комитета и с которым он делал доклад Совету...

Вернулся Керенский. Нас пригласили в комнату заседаний думского комитета. Это была, очевидно, какая-то бывшая канцелярия с целым рядом казенно расставленных канцелярских столов и обыкновенных стульев; было еще два-три разнокалиберных кресла, стоявших где попало, но не было большого стола, где можно было бы расположиться для чинного и благопристойного заседания.

Здесь не было такого хаоса и столпотворения, какие были у нас, но все же комната производила впечатление беспорядка: было накурено, грязно, валялись окурки, стояли бутылки, неубранные стаканы, многочисленные тарелки, пустые и со всякой едой, на которую у нас разгорелись глаза и зубы.

Налево от входа, в самой глубине комнаты, за столом сидел Родзянко и пил содовую воду. У другого параллельного стола лицом к нему сидел Милюков над пачкой бумаг, записок, телеграмм. Дальше, у следующего стола, ближе ко входу, сидел Некрасов. За ним, уже напротив входной двери, расположились какие-то неизвестные и незаметные депутаты или другие лица, в числе три – пять, бывшие простыми зрителями... В середине комнаты от стола Родзянки до стола Некрасова на креслах и стульях расположились будущий премьер Г. Е. Львов, Годнев, Аджемов, Шидловский, другой Львов, будущий святейший «прокурор», тот самый, который ездил вестником к Керенскому от Корнилова. За ними больше стоял или прохаживался Шульгин.

Не помню, был ли еще кто-либо, и во всяком случае я не знаю их имен. Во время заседания не только эти остальные, но и большинство названных хранили полнейшее молчание. В частности, «глава» будущего правительства князь Львов не проронил за всю ночь ни слова...

Уже после начала заседания у одного из столов, стоявших вдоль другой стены, на одной линии с Милюковым, расположился Керенский. Сидя все время в мрачном раздумье, он также не принимал никакого участия в разговорах.

Обменявшись рукопожатиями, мы уселись на стульях в ряд в глубине комнаты: я по соседству с Родзянкой, в некотором отдалении от него, не за столом; рядом со мной Соколов, затем Стеков и почти у стены против Керенского Чхеидзе.

Председателя, формально избранного, не было: за словом приватно обращались к Родзянке. Никакого официального конституирования, открытия и ведения заседания не было. Разговор начался несколько по-семейному; довольно долго он не налаживался в качестве делового и весьма «ответственного» совещания и еще дальше не стал, по существу, на подлежащие рельсы, не взял быка за рога.

Однако это не значит, что господа члены думского комитета теряли даром драгоценное время. Они не знали толком, чего именно **нам** от них нужно, а стало быть, что им с нами делать и как «тактичнее» обойтись. Но они хорошо знали, что им от нас нужно, и в полуприватных репликах и в небольших речах они деятельно подготавливали почву для «использования» Совета в нужных им целях.

Быть может, они надеялись, что при надлежащей их «тактичности» дело тем и кончится.

²² в полном составе (лат.)

Понятно, что разговоры начались с царившей в столице анархии. Один за другим Родзянко, Милюков, Некрасов брали слово для того, чтобы ужасаться происходящему и нудно рассказывать об отдельных случаях эксцессов... Рассказывали о том, что было нам наизусть известно: о развале в полках, о насилиях над офицерами, о всяких погромах, столкновениях и т. д. Нас стремились сагитировать, чтобы потом использовать для восстановления «порядка»...

Но агитаторы не замедлили убедиться, что они ломятся в открытую дверь. Они увидели, что им не только не возражают, не только не стремятся ввести в рамки рисуемые ими картины, смягчить их тона, сказать что-либо в ограничение или в оправдание «анархии», но всецело присоединяются к ним в полном признании и самих фактов, и их крайней опасности для революции. Тогда лидеры думского комитета уже начали переходить непосредственно к пропозициям насчет «контакта», содействия и поддержки...

Мне показалось, что уже за глаза достаточно этого распыления беседы и затемнения как центрального вопроса, так и общего положения дел. А также достаточно и затемнения взаимоотношений сторон... Я впервые взял слово и указал, что в борьбе с анархией заключается сейчас основная «техническая» задача Совета рабочих депутатов; борьба эта в его интересах никак не меньше, чем в интересах думского комитета; борьба эта им ведется и будет вестись; в частности, об отношении к офицерству нами уже печатается специальное воззвание к солдатам. Однако во всем этом отнюдь не заключается основная цель данного совещания. Временный комитет Государственной думы, взявший в свои руки исполнительную власть, еще *не является правительством*, даже «временным»; предстоит создать это правительство, и на этот счет существуют, несомненно, определенные намерения и планы у руководящих групп Государственной думы. Совет рабочих депутатов со своей стороны предоставляет цензовым элементам образовать Временное правительство, считая, что это вытекает из общей наличной конъюнктуры и соответствует интересам революции; но он, как организационный и идейный центр народного движения, как единственный орган, способный сейчас ввести это движение в те или иные рамки, направить его в то или иное русло, как единственный орган, располагающий сейчас реальной силой в столице, желает высказать свое отношение к образуемой в правом крыле власти, выяснить, как он смотрит на ее задачи и во избежание осложнений изложить те требования, какие он от имени всей демократии предъявляет к правительству, созданному революцией.

Наши собеседники ничего не могли возразить против такого порядка дня и приготовились слушать. С докладом по нашему соглашению выступил Стеклов, торжественно вставший со своим листом бумаги. Он говорил довольно долго, последовательно излагая и подробно мотивируя каждое из наших требований. В этом собрании квалифицированнейших политиков всей буржуазной России он, видимо, повторял свой доклад, только что сделанный на советском митинге, разъясняя в самой общедоступной форме пункт за пунктом социалистической «программы-минимум».

Популярная лекция в рабочем кружке, думал я, слушая разливавшегося рекой оратора.

Но я не скажу, чтобы в этом собрании эта популярная лекция была излишней. Я не сомневаюсь, что большинство присутствующих политиков не имело надлежащих представлений о принципиальных основах нашей позиции, о демократической программе и, в частности, о «каком-то Учредительном собрании». Все внимательно слушали, один Керенский был рассеян, угрюм и демонстративно пренебрежителен...

Стеклов старался связать наши требования в единое целое, агитируя, убеждая в их рациональности и приемлемости, делая исторические экскурсии и иллюстрируя практикой Западной Европы. Особенно он остановился на вопросе о «переводе армии на гражданское положение», считая, что этот пункт вызовет неизбежную оппозицию, и стараясь доказать, что это требование вполне совместимо с сохранением боеспособности армии; ее сила не ослабнет, а

увеличится по мере приобщения армии к революции и дарования солдатской массе всех человеческих, политических и гражданских прав.

На лицах многих из присутствовавших цензовиков появилось выражение беспокойства и растерянности. Но, насколько вспоминаю, Некрасов хранил полное спокойствие, а на лице Милюкова можно было уловить даже признаки полного удовлетворения.

Это было понятно тому, кто не столько следил за докладом, сколько за аудиторией, стремясь возможно правильнее ориентироваться во всей совокупности обстоятельств: ведь Милюков, несомненно, ждал требований по внешней политике; он опасался, что его захотят связать обязательством политики мира. Этого не случилось, и это не только крайне облегчило положение тогдашнего лидера цензовой России, уже познавшего вкус власти, уже завязавшего в ней коготок, но доставило ему минуты душевного удовлетворения, ощущение торжества на этом историческом заседании.

Стеклов кончил выражением надежды, что мы сговоримся, что образуемый кабинет примет наши требования и опубликует их как свою программу в той декларации, которая оповестит народ о создании нового первого правительства революции. Заговорил в ответ Милюков.

Заговорил от имени всего думского комитета, и это всеми как бы само собой разумелось. Видно было, что Милюков здесь не только лидер, что он *хозяин* в правом крыле. Другие после высказывали свои мнения по разным пунктам программы. Но фактически Милюков уже за них давал нам ответ.

– Условия Совета рабочих и солдатских депутатов, – сказал он, – в общем приемлемы и в общем могут лечь в основу соглашения его с комитетом Государственной думы. Но все же есть пункты, против которых комитет решительно возражает.

Милюков попросил дать ему лист бумаги, где была изложена наша программа, и, переписывая ее, делал свои замечания... Амнистия разумеется сама собою. Милюков, не делая активно ни шагу и лишь уступая, не счел приличным спорить против амнистии и терпел ее до конца, не очень охотно, но вполне послушно записывая... «по всем преступлениям: аграрным, военным, террористическим». То же самое было со вторым пунктом – политическими свободами, отменой сословных, вероисповедных ограничений и т. д. От Милюкова *требовали*, и он *уступал*.

Но вот третий пункт уже вызвал решительный отпор со стороны лидера будущего министерства. Пункт третий гласил: «Временное правительство не должно предпринимать никаких шагов, предreshающих будущую форму правления»... Милюков отстаивал монархию и династию Романовых, с царем Алексеем и регентом Михаилом.

Для меня лично было довольно неожиданно не то, что Милюков отстаивал романовскую монархию, а то, что из этого он делает самый боевой пункт всех наших условий. *Теперь* я хорошо понимаю его и нахожу, что, со своей точки зрения, он был совершенно прав и весьма проникателен.

Он рассчитывал, что при царе Романове, и, может быть, *только* при нем, он выиграет предстоящую битву, возьмет азартную ставку, оправдает огромный риск, на который в лице его идет вся буржуазия как господствующий класс. Он полагал, что при царе Романове *остальное приложится*, и не боялся, *не так* боялся, считая допустимыми, преодолимыми и свободы армии, и «какое-то» Учредительное собрание...

Его соратники, сравнительно с ним в большинстве простые обыватели, к тому же охваченные сейчас революционным энтузиазмом, в этом деле и в этих перспективах разбирались довольно плохо («обыватель глуп», слышал я раньше от Милюкова в разных общественных собраниях)... Прочие думцы, чуть не до Родзянки, не так цеплялись за монархию и Романовых, и Милюков из лидера оппозиции вдруг оказался на крайне правом фланге. Он потерпел крах, но он знал, что делал.

Однако положение его было крайне затруднительно. Перед нами он, естественно, не мог развернуть лицом свою аргументацию, не мог даже намекнуть на нее. И, естественно, был крайне слаб, даже нечленоразделен в занятой им позиции «по третьему пункту», что, впрочем, отнюдь не уменьшало его упорства.

Он делал нам «либеральные авансы», указывая, что Романовы теперь уже не могут быть опасны, а Николай и для него неприемлем и должен быть устранен. Он был наивен, когда убеждал нас в приемлемости для демократии его комбинации, говоря про своих кандидатов: «Один больной ребенок, а другой совсем глупый человек»...

Милюкову в его положении, конечно, не могли бы помочь вообще *никакие* теоретические аргументы; *такая же* аргументация, во всяком случае, могла только провалить дело... Но другая, настоящая, не годилась, и Милюков просто упорствовал без аргументов, приводя в некоторое смущение даже иных коллег из «Прогрессивного блока».

Чхеидзе и Соколов отмечали не только неприемлемость, но и *утопичность* плана Милюкова, указывая в репликах на всеобщую ненависть к монархии и на острую постановку вопроса о династии среди народных масс. Они говорили, что попытка отстоять Романовых под нашей санкцией совершенно абсурдна, немыслима и вообще ни к чему бы не привела... Но лидер буржуазии был неумолим и, видя бесплодность спора, обратился к дальнейшим пунктам.

Он прошел всю программу до конца, приема и выборы в муниципалитеты, и отмену полиции, и Учредительное собрание с его именем и всеми надлежащими атрибутами. Он выразил затем удивление, как можно предполагать покушение правительства на разоружение и вывод революционных полков без настоятельной стратегической к тому потребности. Возражая далее против перевода армии, вне строя, на гражданское положение, он не отвергал этого пункта в принципе и говорил лишь об его опасности. И наконец он снова вернулся к третьему пункту, указывая, что для него он единственно неприемлем, тогда как об остальных можно столковаться.

Следующим говорил Родзянко. Насколько я помню, он остановился преимущественно на сроке созыва Учредительного собрания и выборов в него. Мы требовали немедленного приступа к работам по организации выборов и скорейших выборов независимо ни от каких обстоятельств. Родзянко указывал на невозможность этого, в частности, для армии во время войны. Но говорил он далеко не «категорически», скорее в порядке сомнений. Не помню, чтобы он поддержал Милюкова в вопросе о монархии и регентстве...

Далее произнес речь Шульгин, который перенес центр тяжести в пункт о распорядах в армии. Он говорил о войне, о победе, о патриотизме и крайней опасности нашей военной программы. Но никакой ультимативности в его речи я тоже не помню, и насчет монархии он, рекомендуясь монархистом, был мягче Милюкова, высказывая лишь свои общие взгляды по этому предмету.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.